

ДВУАККАЯ КАНО:  
ВЕРСИИ И ФАКТЫ

Иштван Эркенъ НАРОД ЛАГЕРЕЙ

Иштван Эркенъ  
НАРОД ЛАГЕРЕЙ



**ОБЩАЯ ЧАСТЬ:**

---

**ВЕРСИИ И ФАКТЫ**

Иштван Эркенъ  
НАРОД ЛАГЕРЕЙ

---

Иштван Эркень

НАРОД  
ЛАГЕРЕЙ



УДК 821.511.141  
ББК 84(4Вен)  
Э78

*Издательство благодарит наследников И. Эркеня  
за бескорыстное предоставление возможности  
публикации текстов венгерского классика,  
а также Мемориальный музей немецких антифашистов  
в г. Красногорске за помощь в подборе материала.*

Э78 **Эркенъ И.** Народ лагерей / Пер. с венг., вступ. ст. Т. Воронкиной. — М.: Книжный Клуб Книговек, 2015. — 256 с. (Двуликая Клио: Версии и факты).

ISBN 978-5-4224-0947-1

Иштван Эркенъ (1912–1979) — классик венгерской литературы XX века. Он неоднократно повторял, что важнейшим событием, повлиявшим на формирование его мировоззрения, на отношение к жизни и к людям, была война. К теме войны в различных ее аспектах писатель возвращается во многих своих произведениях, но особое место в этом ряду занимает книга «Народ лагерей», написанная в 1946 году. Она интересна не столько описанием лагерных впечатлений (И. Эркенъ провел в советском плену около четырех лет), сколько глубочайшими психологическими зарисовками, рассказами о неповторимых человеческих судьбах.

Издание посвящается 70-летию окончания Второй мировой войны.

УДК 821.511.141  
ББК 84(4Вен)

© И. Эркенъ, наследники, 2015  
© Т. Воронкина, перевод, вступительная статья, 2015  
© Д. Дьяков, послесловие, 2015  
© Книжный Клуб Книговек, 2015

ISBN 978-5-4224-0947-1

## «ПЛЕН — КАТЕГОРИЯ НЕ ПРОСТРАНСТВА, А ВРЕМЕНИ»

«Народ лагерей... Странное название книги», — настороженно подумает читатель. Столько написано, столько прочитано о лагерях, вряд ли скажут что-нибудь новое. Впрочем, народ, заключенный в лагерь, — пожалуй, необычный ракурс. В данном случае речь идет о продуманной и на редкость точной формулировке, принадлежащей венгерскому писателю Иштвану Эркеню (1912–1979), проведенному в лагерях около четырех лет жизни. Не в сталинских лагерях системы ГУЛАГа, нет, — в лагерях для военнопленных.

Иштван Эркен, начинающий литератор, а впоследствии всемирно известный писатель, попал на Восточный фронт летом 1942 года, призванный в трудбат по причине еврейского происхождения. В венгерской армии того времени при каждом крупном воинском подразделении создавались такие батальоны из лиц невенгерской национальности, а также из так называемых социально неблагонадежных элементов. Оружия они не получали и их использовали на самых тяжелых и опасных работах по возведению оборонительных укреплений, ремонту железнодорожных путей, разминированию и т. д. Тот батальон, в составе которого находился И. Эркен, входил во 2-ю венгерскую армию, дислоцированную на Дону, под Воронежем. В январе 1943 года в результате одной из известных операций Великой Отечественной войны, так называемого Воронежского прорыва, венгерская армия, плохо вооруженная, совершенно не приспособленная к условиям выживания в суровом русском климате (особенно неблагоприятившем к нашим неприятелям в те страшные годы нашествия), была разгромлена. Массовое, беспорядочное отступление венгров длилось несколько недель и заключалось в основном в поисках сборных пунктов, где можно было бы сдать в плен и таким образом уцелеть. А победители даже и в плен не брали побежденных, не до них было, неудержимая вол-

на наступления катилась, на запад, к Победе, до которой оставалось еще более двух тяжелых, кровопролитных лет. Впрочем, это лишь необходимое пояснение к основной теме нашего повествования.

Более сотни тысяч погибших, десятки тысяч замерзших во время отступления... Иштван Эркенъ выжил. С ногой, израненной минными осколками, вместе с множеством своих собратьев по несчастью он прошел около 300 километров, прежде чем очутился в плену. Война, ставшая судьбоносным, основополагающим событием его жизни, не отпускала писателя никогда. Ужасы трехнедельного отступления описать он так и не смог, хотя о войне говорил и писал много. Точкой художественного отсчета послужил плен, где первым откликом на тему воронежской трагедии явилась пьеса «Воронеж» (1944), написанная уже в лагере, и основное произведение тех лет — социографическое исследование «Народ лагерей». Любопытно отметить, что собирать материалы для своего труда писатель был вынужден дилетантским способом: путем опроса окружающих, записи воспоминаний и отрывочных сведений о других лагерях для военнопленных (их тогда на территории СССР было несколько сот). Однако, обладая несомненным чутьем, иной раз поистине провидческим, И. Эркенъ сумел почти точно определить число пленных соотечественников — 500 тысяч. Вдумаемся в эту цифру: полмиллиона нестарых, жизнеспособных, боеспособных и трудоспособных мужчин при общем населении Венгрии в 10 миллионов составили то обширное и особое сообщество, которое можно с полным правом называть народом. Эта общность, сформировавшаяся в силу необычных, экстремальных исторических обстоятельств, складывалась по своим, новым закономерностям и развивалась, меняя самих людей и их мироощущение.

Венгерский писатель оставил уникальное описание этого явления — плен, старого, как мир, в котором существуют войны. Работа И. Эркеня далеко выходит за рамки бытописательства, хотя о повседневной жизни пленных узнаешь очень многое и интересное для российского читателя тем, что сведения эти проливают свет и на жизнь нашего общества того времени. Ведь разделявшая нас колючая проволока — категория относительная, и понятие «по ту сторону» проволоки и «по эту» существовали в теснейшем соседстве, на одной земле и подчинялись общечеловеческим законам. Конечно, лагерная жизнь — не курорт, однако у Эркеня всегда доставало мудрости соотносить условия существования пленных с теми лишениями и невзгодами, какие обрушились на мирное население советской страны.

«Народ лагерей» можно назвать философией такого явления, когда человек заключен в ограниченном пространстве наряду с себе подобными или же со своими соплеменниками. И. Эркень углубляет это понятие, утверждая, что «плен — категория не пространства, а времени». Парадоксально? Нет, если вдуматься. Те, кто пережил те времена, знают, что пленные пользовались у нас известной свободой, зачастую были фактически расконвоированы, хотя и ограничены в свободе передвижения. Из последнего обстоятельства исследователь выделяет два момента. Вырваться за пределы территории лагеря каждому мечталось только домой, на родину. Тоска по ней сродни неутолимому голоду. Что значит ностальгия применительно к пленному? Здесь автор тоже выступает интереснейшим первопроходцем. Что лежит в основе этого чувства и что конкретного связывает человека с тем географическим местом, без которого, как выясняется, ему и жизнь не в жизнь? И. Эркень в одном из своих произведений о войне сравнивает любовь к родине с воздухом, который не замечаешь, пока им дышишь, но начинаешь испытывать удушье, когда тебе перекрывают кислород. Для пленного же, по наблюдениям исследователя, после того как он выжил, не голодает, имеет возможность трудиться и даже переписываться с родными, выявляется смысл наказания разлукой с родиной. Не известно, когда ты туда вернешься и вновь увидишь родную землю.

И. Эркень формулирует это афористически точно: «Мы в рабстве у времени» — и приводит курьезные примеры, когда его соотечественники рвались домой, даже зная, что там их ждет тюрьма. «Подумаешь, отсижу положенный срок, зато точно буду знать, когда выйду».

У этого необычного сообщества, именуемого «народом лагерей», формируется своя психология. Особенности склада человеческой души неисчерпаемы и многообразны. Каков порог страданий? Что происходит с человеком, когда этот порог перейден? «Абсолютная нулевая точка чувств», отключение памяти, отсутствие эмоций, воспоминаний... что это — естественное состояние организма, отказывающегося реагировать на перегрузки? Восстанавливается ли способность помнить, любить, отвечать на чувства других людей? Чем заполняет человек уйму обрушившегося на него ничем не занятого времени? Труд... правда ли, что он способен превратить биологическое существо в разумного человека? Когда просыпаются в человеке духовные потребности, тяга к культуре? На эти и множество других вопросов писатель дает ответы, но пересказывать их — задача неблагоприятная. Пересказ звучит сухо, скучно и может лишь отбить охоту к чтению. А неотъемлемое ценное

качество книги И. Эркена, помимо ее интереснейшего содержания, заключается в том, как она написана.

Принято считать, «Когда говорят пушки, музы молчат». Писатель как-то упоминал, что та война не была отмечена всплеском поэзии, даже песен не рождалось в ту пору: солдаты, едущие на фронт, пели их «из-под палки» да и то лишь песни Первой мировой войны. Оно и понятно: неправое дело энтузиазма не вызывает, а венгры, вторгшиеся в СССР, понимали, что эта война несправедливая. Кстати, чувство вины перед Россией, перед русскими писателем испытывал до конца своих дней.

Так вот, о дремлющих музах. Сам Эркень был счастлив, когда пленных стали снабжать бумагой для курева — ведь на ней можно было писать. И писать он начал сразу же, как только пришел в себя после ранения и сыпного тифа, при первых признаках выздоровления. В плену им были написаны рассказы, уже упоминавшаяся пьеса «Воронеж», литературно оформленные воспоминания товарищей по несчастью — серия из десяти портретов и главный труд — «Народ лагерей». У этой книги есть и дата рождения — 1946 год, и место — Красногорский лагерь для военнопленных, где писатель провел полтора года, уже в качестве ассистента преподавателя Антифашистской школы.

Писательский путь Иштвана Эркена не был простым. Были и долгие поиски своего голоса, и годы вынужденного молчания, когда (после событий 1956 года) его произведения семь лет не печатались, и слава у себя на родине, и мировая известность, обрушившаяся на него в одночасье, когда запрет на публикацию был снят. Но у его подлинного литературного успеха есть стартовая планка. «Народ лагерей» был и остается непревзойденным трудом по истории трагического и кровопролитного времени, а главное, истинно художественным произведением, свидетельствующим о ярком, самобытном писательском таланте. Все, что миллионы читателей мира ценят и любят в произведениях И. Эркена, — его неповторимый юмор, иронию и самоиронию, поразительную меткость наблюдений, виртуозное умение при скупости изобразительных средств создавать яркие образы, афористичность его фраз — все встретит читатель в этой первой его большой книге. И конечно же, почувствует, что написана она человеком тонким, способным сострадать ближнему, человеком, который своим жизненным кредо считал солидарность. На войне и в плену души не только ожесточаются, но крепнут добротой, милосердием и верой в человечество.

*Татьяна Воронкина*

# НАРОД ЛАГЕРЕЙ

п/я 27/40  
7.IX

Дорогие мои родители!

Получил открытку от Лаци и Жужи Козма, а перед этим еще и вашу, вчера дошел до меня теплый отзыв в «Сабад Неп» — сплошная радость! В таких случаях испытываешь удовлетворение оттого, что трудился и не вешал нос. Вот увидите, мое исследование жизни военнопленных тоже окажется удачным и приведет к успеху. Правда, рукопись еще сырая, кое-что следует предварительно обсудить с Дюлой Хайем, но это успеется до тех пор, когда сам я буду дома. Произойдет это месяца через два, не раньше, а если прибавить еще месяц на дорогу, то дай бог к Рождеству попадешь домой, а то и позднее. Итак, терпение и терпение, я здоров и очень много пишу, — это единственное, что могу делать. Пишите обо всем, Сендре и Луковски крепко обнимаю, вас с любовью целую.

*Ваш сын  
Иштван Эркенъ*

*Эта книга писалась в лагере для военнопленных, в суровых условиях заключения, что означает: затрагиваемые здесь вопросы я рассматривал не со стороны, а изнутри, по эту сторону колючей проволоки. Посему суждения мои не столь уж объективны, но, пожалуй, именно по этой причине более достоверны и характерны.*

*Сама возможность обмана была исключена. Сотни тысяч придирчивых прокурорских глаз следили за каждым моим словом. Я старался писать правду и только правду: живые люди выступают под своими подлинными именами, за очень редкими исключениями, когда я вынужден был наградить их «псевдонимами» из соображений корректности или необходимости иного рода. Но хотя я всегда повествовал о реальной действительности, упорядочивал эту действительность я сам; поэтому, если в чем-то и погрешил против истины, в ответе за это я и только я, а не реальность, не жизнь.*

*Удалось ли мне найти равновесие между истиной и объективностью — не знаю. Иногда, мне кажется, здесь слишком много мрачного, в других эпизодах отмечаю перебор веселого. Боюсь, соблюсти чувство меры не получилось; но ведь и жизнь не знает меры нигде и ни в чем. Там, где сгущаются темные краски, они ложились на фон, который написала черной тушью сама смерть. А где наблюдаются просветы, там красной, как кровь, струей, пробилась, прорвалась жизнь — моя и сотен тысяч моих сотоварищей.*

*Плен — это большое и тягостное испытание. Экзамен на человечность, нравственность и жизнестойкость. Кто прошел его, тот научился верить в преобразующую силу страдания. Кто все*



перестрадал, кто выдержал этот экзамен, для тех голод, тоска по родине, тиф были не напрасным испытанием.

Жестокий жребий, но ведь только на твердом камне шлифуются характер. Я верю, что те, кто снес испытание пленом, снесут и более трудное — испытание свободой. Верю, что дома, в свободной отчизне зачастую более справедливым судьей окажется тот, кто здесь, в плену, воровал хлеб — справедливее того, кто освоил судейское ремесло, но не знает, каково жить без куска хлеба. Справедливость никогда не раздавали задаром. За нее всегда приходилось бороться и страдать.

Иштван Эркенъ  
Красногорский лагерь военнопленных,  
июль — сентябрь 1946

## ПРИКАЗ КОМАНДОВАНИЯ КОРПУСОМ

«Начиная с 12 января 1943 года войска III венгерского королевского корпуса несли тяжелые потери в боях за удержание позиций на Дону. Отрезанные от 2-й венгерской королевской армии в результате урывского прорыва, они попали в подчинение корпуса Зиберта и в течение двенадцати суток с лишним обеспечивали возможность планомерного отступления 2-й немецкой армии.

В боях венгерские части проявили сверхчеловеческий героизм. Постоянно возрастающая нехватка боеприпасов и продовольствия и необычайные морозы сломили сопротивление оборонительных сил. С этого момента для немецкого военного командования мы стали только обузой.

Я неоднократно докладывал вышестоящему командованию о положении вверенных мне частей, прося отвести их с линии фронта на отдых и переформирование. К сожалению, этого не произошло, и венгерские солдаты, лишённые боеприпасов, продовольствия и крыши над головой, были обречены на кошмарные тяготы ночевки прямо на снегу, в условиях жестокой русской зимы. Я видел, как изо дня в день убывают ваши физические и душевные силы, и понимал, что всех нас ждет неминуемая гибель. И в этой труднейшей ситуации немецкое командование не смогло обеспечить нас даже продовольствием.

Сегодня я получил от генерала Зиберта приказ передислоцировать вас на территории к западу от реки Олым и совершить прорыв на Запад, прорвать оборону русской армии, что оказалось не под силу даже его полностью оснащенным и сохранившим боеспособность дивизиям!

Я не могу отдать вам этот приказ, поскольку не вижу смысла в том, чтобы тысячи обмороженных, измученных голодом венгров гибли бесславной смертью — с десятью патронами на ствол и с пустым желудком.

Немецкое командование прежде отдало приказ, согласно которому готово принять в свои ряды венгерских солдат, желающих воевать на стороне немецкой армии, и обязуется обращаться с ними так же, как с сынами прочих народов, состоящих у них в союзниках.

В истории венгерского народа не раз возникала аналогичная ситуация, когда мадьяры — ведомые дерзкими командирами — устраивали прорыв в немислимые дали.

В силу всех вышеуказанных обстоятельств я вынужден предоставить каждому из вас самому решать свою судьбу, поскольку не могу дать вам ни продовольствия, ни боеприпасов, ни выполнимой боевой задачи.

Венгерская отчизна всегда с благодарной любовью будет вспоминать своих героических сынов, чья участь мало с какой другой может сравниться в истории венгерской нации.

Прощайте, венгерские солдаты!

*Красный Олым, 1 февраля 1943 года  
Генерал-майор граф Штомм,  
командир корпуса»*

## ПЛЕН КАК ПРЕДМЕТ ИССЛЕДОВАНИЯ

Нелегкая задача ждет исследователя, которому когда-нибудь захочется составить четкое представление о том, как жили, мыслили и менялись вместе с меняющимися временами венгерские военнопленные в Советском Союзе. Централизованный сбор данных, насколько мне известно, не производился. Заниматься этим в частном порядке трудно, поскольку многие тысячи венгров находятся примерно в пяти сотнях лагерей, разбросанных далеко друг от друга; они обитают в неодинаковых условиях, в разном климате, в специфических трудовых рамках. Правда, непрерывное колебательное движение сближает даже самые отдаленные точки, но к данным, полученным от отдельных лиц, следует относиться крайне осторожно. Ничто не может так исказить целостность истины, как разрозненные факты.

А между тем было бы очень важно прояснить этот вопрос. Ведь по прихоти истории число венгров, которые будучи в расцвете творческих сил, целые годы проводили и проводят в военном плену, превышает полмиллиона. Это важнейший орган тела нации, значительный процент мужского населения, который в настоящее время живет за пределами страны, там набирается опыта, меняется и развивается. Эти люди не просто очутились вдали от родины — они оторвались от нее, выпали из кровообращения и внутренней жизнедеятельности отчизны. Когда эти живые токи возвратятся в тело нации, они будут совсем другими, чем были на тот момент, когда их оттуда вычерпали. Это развитие — историческое, потому и воздействие его окажется в высшей

степени значимым, даже более того — возможно, также историческим. В прошлом нашего народа не найти ни единого примера, когда столь огромная масса людей жила бы вне пределов страны, подвергаясь активному воздействию нового общественного строя.

Нижеприведенные данные не могут претендовать на полноту. Правда, я составил их на основе материалов, которые собирал почти четыре года, но собрание мое не было систематизированным, и материалы не раз гибли. И хотя жить мне довелось во многих лагерях, среди соотечественников из самых разных социальных слоев, все же осталось немало лагерей, с которыми у меня не было никакой связи. Стало быть, эти записи означают скорее начало исследовательской работы, а не ее завершение, и неполнота их объясняется не ленью или недобросовестностью собирателя, а обстоятельствами сбора материалов. Ведь плен и этой работе воздвиг противоестественные барьеры.

## ЗВЕЗДА НАД ЗАГОНОМ<sup>1</sup>

Сколько нас, мы и сами не знаем; десятки или сотни тысяч венгерских военнопленных обитают в неслетном количестве лагерей, разбросанных на необозримых пространствах страны в двух частях света. Почтовой связи меж лагерями не существует; ни с домом, ни друг с другом мы не переписываемся. Лишь поезда приходят и уходят, длинные эшелоны с военнопленными тянутся отсюда за Урал или с востока обратно, в европейскую часть. Эшелоны прибывают часто; мы толпимся у ворот, поджидая новеньких, которые сперва выспрашивают нас про здешние условия, а уж потом рассказывают про свое житье-бытье.

Таким образом постепенно — с той же медлительностью, с какой ползут года, — мы все-таки узнаем кое-что друг о друге. Есть у нас даже своя печатная газета — «Игаз Со», «Правдивое слово» — ее издают в Москве; оттуда тоже можно почерпнуть сведения, прочесть письма. Иной раз и нам самим приходится совершать путь то с севера на юг, то в горы, то к морским берегам — куда судьба забросит. Из распространяемых слухов, ненароком оброненных слов, а в основном по воле случая медленно, но верно все же вырисовывается общая картина. Картина того, как жил, что чувствовал, о чем думал военнопленный, самое убогое и беспомощное из всех созданий Господних.

\* \* \*

В начале начал, в «первобытный период», когда приходилось бороться за существование, пленный

---

<sup>1</sup> Местечко в Трансильвании, освященное культурно-историческими традициями венгров. (Здесь и далее — прим. переводчика.)

абсолютно ничего не воспринимал. Надо было выжить. Жить значило быть эгоистом. Пленный был предоставлен самому себе. Его окружали мрак и непробиваемая оболочка, где был он один-одинешенек, как орех в скорлупе. Даже зависти он не знает. Если голоден и видит у другого хлеб, то даже не задумывается над тем, что хлеб — чужой. Хлеб — это хлеб, надо его схватить и съесть.

Многие воровали хлеб. И сейчас иногда крадут. Интересно, что когда поймают вора, то долго спорят и обсуждают, как с ним поступить: доложить начальству, отвалтузить или попросту заставить возместить ущерб. Решение выносится всем баракком, и вора ждет битье или карцер. И лишь в крайне редких случаях — презрение.

Дома, на родине, вора подвергают остракизму. Здесь поколотят, и дело с концом. Это не эмоциональная ущербность, а полное равнодушие. Абсолютная нулевая точка чувств, состояние, о котором глухо умалчивает литература. Возможно, оттого, что редко встречались примеры; но теперь и здесь этих примеров сотни, тысячи.

Все мы слышаны о том, что человек убивает в состоянии аффекта. Из-за любовной страсти, из корыстных побуждений, ради женщины, золотого кольца или чего-либо другого, но всегда одержимый страстью. И вот вам, пожалуйста, масса людей, бесстрастно, тупо и равнодушно сносивших смерть. Нужны примеры? Они есть. И если мы выбираем примеры, то лишь потому, что имена большинства из этих людей канули в забвение. Но кое-чьи сохранились.

\* \* \*

Дёрдь Нанаши, врач из Будапешта. Известный спортсмен — то ли пловец, то ли ватерполист. Зимой 1943-го ему ампутировали обе ноги по колено. Несколькоими неделями позже он попал в этап; место в вагоне нашлось только на верхних нарах. На шестые сутки нары расшатались и стали крениться. Верхние «пассажиры» чувствовали себя как на

скользком склоне. Хватались, цеплялись за доски. Вагон трясло, нары шатались и все упорнее сползали вниз. Раны Нанаши были далеки от заживления, в ту пору даже царапины и те затягивались с трудом. Нанаши сползал к краю и орал от боли.

Иногда кто-то делал над собой усилие, усаживал раненого повыше и подпирал какой-нибудь деревяшкой. Это не помогало. Надо было поднять нары да укрепить парой гвоздей. В вагоне находилось тридцать пять человек, но ни один и пальцем не шевельнул. Не в слабости было дело — в равнодушии. Нанаши стонал и кричал еще двое суток, потом умолк. Никто не замечал его стонов, никто не заметил его смерти.

Не знаю, где и когда еще жили люди в такой степени отупения и безразличия. Никто не испытывал жалости к ближнему, но и к себе тоже. Сознания, разума было не больше, чем у муравья, человек лишь сносил свою участь, руководствуясь инстинктами. Исчезли невесть куда воспоминания. Не только лица и образы канули в небытие, но и дорогие сердцу имена, важнейшие даты. Многие считали причиной перенесенный тиф. Но причина была в глухом бесчувствии, в душевной отупелости.

Попадались такие, кто, кроме года своего рождения, не помнил ни одной даты. Большинство забывали даже собственные имена. Что уж там говорить об исторических личностях, знакомых по школе, вроде Генриха VIII или Ласло Хуняди, — имени близкого друга и то не помнили. Знал я одного немца, который напрочь позабыл имя своей дочери. Мало того, ему даже в голову не приходило попытаться вспомнить, как ее зовут. Не все ли равно?

Тщетны были бы усилия раскопать хоть какие-то следы эмоций на такой глубине падения. Все чувства, какие у нас были, проредила, повыдергала война. Они сжались, скукожились на фронте, и из огромного искрометного снопа чувств, взметавшегося в прошлой жизни, остались всего лишь один-два чуть тлеющих уголька, разрозненные черты, слово-другое... Или даже и не слово — самопроизвольный выдох: «Ах, мама!», или «Илуш», или «Розика».



Этот состояние — период глухого мрака — оказалось переходным. Первым просветом был огонь печи, где пекся хлеб, и кухонное оконце, откуда просачивался дух горячего варева. Вероятно, не лишне упомянуть, что основой человеческого самосознания и поныне является краюшка хлеба. Все остальное следует потом. Мечты, стремления, любовь, нежность, молитва и даже воспоминания... всему этому находится место лишь тогда, когда в руках у тебя — кусок хлеба.

Итак, тронулся лед, возобновилась уже почти утраченная жизнь. Начали пробуждаться и человеческие чувства. Два человека наконец-то оказались способны к разговору. До сих пор они лишь огрызались: «Пошел отсюда», «Это не твое место» — или аналогичными раздраженными словами. Теперь настала пора и для бесед.

«Ты откуда, браток?» — это самая первая фраза для зачина. Оно и понятно: вдруг да из Пакша, Сенца, Мезёкёвешда. Тогда никакие долгие вступления да объяснения не нужны, разговор покатится сам собой. А уж ежели земляк или односельчанин? В плену каждый разыскивает соседа, брата, свата, кума, разыскивает неустанно, неутомимо. Похоже, каждый венгр застрял в своей деревне, как топор в древесном сучке.

Нашлись ли земляки, свойственники, родственники, нет ли — кто знает! Но как бы там ни было, а слово за словом — завязывается разговор. Слова хоть и скучные, стертые, а все же человеческие. В длинных, задымленных бараках они жужжат, как рой пчел. Чтобы понять цену этих слов, необходимо учитывать породившее их настроение. Снаружи льет нескончаемый дождь. И столь же нескончаемая череда дней, отличающихся один от другого не больше, чем пустые кадры одной фотопленки. Это не жизнь, но и не смерть. Некое промежуточное состояние.

Жизнь не безнадежна, хотя и не сулит ничего хорошего. Первая радость, первая надежда проглянет лишь годы спустя — после войны, после плена, дома... Мы в рабстве у времени, а это ни с

чем не сопоставимо. Даже в тюрьме заключенный на что-то надеется и ждет: вдруг повернется ключ в замке, вдруг да придет помилование, и тогда — на свободу. Здесь никаких ключей, никакого помилования. Здесь разматывается цепь долгих, тягостных лет, цепляются одно за другое зубчатые колеса истории, и ход этого механизма не ускорить ни тоской, ни страстью, ни молитвой... Остается только ждать, день за днем... «А ну-ка, расскажи про глухого Мишогу!»

И Берез рассказывает историю про глухого Мишогу. Ее слышали добрый десяток раз. Она ни у кого не вызывает смеха, ее жуют и перекатывают во рту, как жвачку. У каждого в запасе своя обкатанная история, которая передается всякий раз почти с одинаковой интонацией; так актеры произносят заученный текст роли. Давний обитатель барака, даже слушая вполуха, мигом определит, кто и о чем рассказывает, до какого места дошел и когда подойдет к концу. «Эти два лопуха зазевались, а я как рвану промеж них...» Рванул — значит, Бедэ.

\* \* \*

О зазевавшихся игроках повествует Иштван Бедэ. Продолжение всем известно: «Я обошел центрального нападающего, бегу вдоль правого края штрафной площадки, чуть притормаживаю и... бью. Гол!» Старик Мессарош, крестьянин из комитата Бихар, все никак пчел своих забыть не может. «Из Пешта народ понаехал, ну пчелы на них налетели и давай жалить. Я только успевай картофелины пополам разрезать: приложишь сырую картофелину к ужаленному месту, и волдырь как рукой сымет. Поэтому как супротив сырой картошки лучшего средства нету, ежели пчела ужалила».

Маркович был коммивояжером, и весь барак наизусть знает перечень мелких лавочников Задунайского края. Этот повествует о парфюмерных товарах, противозачаточных средствах и о женах лавочников. «Муж, конечно, ни о чем не догадывался» — таков неизменный конец всех восьми баек о

его похождениях. Из восьми обманутых мужей ни один ни о чем не догадывался.

В запасе у Ференци всего лишь одна история: как он однажды выступил статистом в Опере. Начинается история так: «Заходит ко мне Эден и говорит...» — а кончается словами: «Да-а, с меня семь потов сошло, но я хоть не зря старался». Вот зачин истории взводного Михока: «Как-то раз мастер велит, обточи, мол, эту детальку...» И конец: «Я чуть с ума не спятил, пока не появился доктор со словами: «Поздравляю, мальчик!» Трудно поверить, но пересказ этой волнующей истории занимал у Михока максимум полторы минуты.

\* \* \*

Вот каким потерянным выглядит человек, наконец-то прибитый к берегу. Он возвращается к жизни, но его все еще трясет лихорадка. Воспоминания, как мы видели, иссякли. Даже если напрячь память, едва удастся наскрести восемь-десять отголосков прошлого. Да и те монотонно повторяются. И каковы воспоминания, такие и сны.

Что же снится пленным по ночам? В основном еда: свежие фрукты, обжаренное с хрустящей корочкой мясо. Крестины, обручение, рождественское застолье. Тут уж никого не приходится подстегивать, сон рассказать норовит каждый, по горячим следам, сразу же после пробуждения. «Я сегодня ел жареную курицу с зеленым салатом». Другой объедался галушками, третий — варениками со сливой. Так что день начинается с уставленного яствами стола.

Тот, кому не снилась еда, обычно заводит рассказ так: «Снилось мне, будто я у себя дома». Большинство пытаются отыскать мать. Но не найти дома, где она живет. Сын перескакивает через плетень, крадется, ползет по-пластунски. Вступает в потасовку с чужими, иной раз даже с родным отцом. Зачастую до смертоубийства дело доходит — все ради того, чтобы повидать родимую мать. Сны эти повторяются, как байка про глухого Мишогу. Как правило, лю-

дям двадцать, тридцать раз кряду снится одно и то же, и сон становится скучным и однообразным, как трафарет маляра.

Удивительно, что третья тема сновидений — война — встречается все реже. А если даже снится, то почти всегда врезавшийся в память момент захвата в плен. Какое-то время рядом со мной занимал место на нарах столяр по фамилии Баратоши. Спал он беспокойно, иногда громко вскрикивал во сне, отчего просыпался и тотчас рассказывал, что ему привиделось. Чаще всего повторялась одна и та же сцена: он лежит на чердаке и из чердачного окна обстреливает улицу. Потом вдруг перед ним вырастает красноармеец и замахивается кулаком. Баратоши вставляет новую обойму и стреляет, перезаряжает и стреляет. А красноармеец знай себе стоит да посмеивается. Но не стреляет.

«Батюшки, что же теперь делать?» — ужасается про себя Баратоши. Перехватывает оружие за приклад и пускает в дело штык. Одним махом рассекает противника надвое. Тело распадается, но затем туловище само собой поднимается и встает на место. Солдат смеется и идет к Баратоши. В руках у него пистолет, черное, круглое дуло нацелено Баратоши прямоком между глаз. «Я испугался до смерти, да как заору... Ты небось слышал?» — «Нет, — отвечаю я. — Ничего не слышал». Баратоши вздыхает и, успокоенный, вновь погружается в сон.

\* \* \*

«Ты откуда, браток?» — так звучит вопрос. Затем очень редко следуют объятия, но чаще всего собеседники попросту усаживаются в сторонке на часок — этого времени хватает, чтобы обсудить краткий период жизни, общий для обоих. Дружба длится всего лишь час. После чего оба встают, расходятся, даже не обменявшись рукопожатием, и при встрече не здороваются. В плену правила приличий не существует.

Здороваться не принято. Вопросов типа «Как ты? Как поживаешь?» здесь не услышишь. Заболеет

кто — отвезут в больницу, вернется — тоже не событие. Нет ни тайн, ни секретов. Люди живут обнаженными до бесстыдства, безо всяких условностей, вне рамок вежливости. Кто живет без покровов, привыкает к собственной нагоде.

Только ведь человеку не прожить в одиночку. У каждого пленного есть своя «половина» (чаще всего — сосед по нарам), а зачастую и «семья» — четверо-пятеро живущих сообща. Но это не дружба, всего лишь чувство общности. Каждый по очереди застилает постели, выбивает одеяла. Один, возвращаясь с работы, сообщает, что разжился щепоткой табака, другой кивнет в ответ и обронит: «Завтра баня», — вот и все общение.

В мае нервные волокна слегка оживают. Вечерами обитатели лагеря подолгу прогуливаются со своими напарниками, и после отбоя продолжают негромкие беседы. Иной раз кто-то блаженно потянется в темноте и тихонько пробормочет: «Да, брат, бабы — это...» Но такие фривольные мысли навевают лишь весна, да и то немногим. Остальные пожимают плечами и усмеваются.

В предыдущие войны рассказы пленных изобиловали любовными похождениями. Не только с женщинами, но и с мужчинами. Непременно фигурировал какой-нибудь стройный, белокурый прапорщик. Подобные упоминания звучали и теперь, но тем все и ограничивалось. Роман не имел продолжения. Снисходительные улыбки слушателей, дружеский тычок в спину — вот и вся реакция. С уверенностью можно утверждать, что в лагерях для военнопленных мужчины гораздо меньше увлекались «нетрадиционной любовью», нежели дома, на воле, где к их услугам были женщины.

Кстати, женщины имели возможность работать в лагерях, не опасаясь за себя. Конечно, какую-нибудь миловидную сестричку провожали взглядами. Иной раз какой-либо отчаянный смельчак из «лагерной аристократии» даже делал попытку приволокнуться, но, разумеется, все это нельзя было назвать любовью. К тому же «заинтересованные стороны» не понимали языка друг друга, да и свидания проходи-

ли в такой напряженной и опасной обстановке, как, должно быть, в период расцвета Венеции. Подобные любовные приключения были редкостью, один-два случая на весь лагерь, да и то среди «сытых». Прочим в массе своей было не до женщин. У пленного в сотне вещей была нехватка, и на последнем, сотом месте были женщины. Ну а про любовь — сердечное чувство — в лагерях годами слыхом не слыхивали. Затем вдруг пошли диковинные слухи: будапештский врач и русская женщина-хирург, токарь по дереву и магнитогорская работница... Это были не мимолетные связи, а самая настоящая любовь, но скорее из области легенд, чем живой реальности. О подобных фактах узнавали не от самого героя и даже не от очевидцев, а из вторых, третьих уст и так далее. Никто не мог поручиться, что это правда, но всем хотелось радоваться чужому счастью. Очень хороша была история Иштвана Добраи.

Случилось это на торфоразработках под Горьким. Именно сюда попал Добраи, молодой сержант, к тому же гусар. Родом из крестьянской семьи, он перебрался в Дебрецен и служил на железной дороге. Выучился играть на трубе и в оркестре призывников лихо наяривал марши. Все эти детали вроде бы несущественны, но кто бы ни рассказывал про Добраи, все упоминали про трубу. Пути любви неисповедимы; возможно, и существовала некая связь между трубой и любовью.

Но в Горьком Добраи выступал не как трубач, а как бригадир. Худо ль, бедно ль, а балакал по-русски и ходил в контору получать наряды на работу. В «предбаннике» сидела девушка, печатала на машинке. Добраи всегда с ней здоровался — подносил два пальца к виску на гусарский лад. Барышня на приветствия отвечала. А как-то раз дошло до того, что на прощание Добраи щелкнул каблуками и приложился к ручке... Дойдя до этого места, рассказчики многозначительно подмигивали и отмечали, что тут-то все и началось. Будем считать, что и правда все с этого началось.

Добраи был видный парень. По одной версии, плотный, коренастый, с вьющимися волосами, по

другой — стройный, белокурый. Машинисточку все описывали одинаково: брюнетка, улыбчивая и пухленькая, как большинство русских женщин. Отца ее называли то майором, то генералом. Сойдемся на том, что отец девушки был майором; в конце концов майор ведь может и до генерала дослужиться.

После целования ручки Добраи стал подолгу застревать в штабе, как говорили повествователи: «зачастил туда ходить». Молодые люди подолгу разговаривали и в результате дошло до того, что барышня без обиняков пригласила Добраи в город на танцы. Добраи готов был умыкнуть даму сердца, хотя бы и верхом на коне, по-гусарски, но барышня предпочла явиться вместе с ним к начальнику лагеря и испросить разрешения. Начальник, молодой майор, цыкнул зубом и сказал, что такого, мол, в лагере не случилось. Не случилось, да случилось: вечером парочка отправилась в клуб на танцы.

С той поры закрепилось за ними «право» что ни вечер вести разговоры на скамейке у лагерных ворот, а по субботам отлучаться в город на танцы. Скоро слух разнесся по всему лагерю, и любовь Добраи получила международный резонанс. Портной сшил ему цивильный костюм, сапожник — дивной красоты сапоги. Брил его самолично старший парикмахер, по его же рецепту повар сварганил помаду на чистом масле. Но от помады впоследствии пришлось отказаться, потому как та прогоркла. Зато у Добраи появились целых две пары перчаток.

Любовь была пылкая, прочная, долгая — как и положено быть настоящей любви. В один прекрасный день влюбленные вновь предстали перед майором и попросили разрешения пожениться. Майор снова поцокал зубом, сослался на то, что таких прецедентов не было, и, прибегнув к испытанному способу строгих отцов, предложил повременить с женитьбой. «Вот когда окончится война...» Однако заявил, что склонен признать Добраи женихом.

На этом месте история любви Иштвана Добраи обрывается. Рассказывать конец неинтересно, все-таки в свое время приходит конец.

В жизни пленного нет места опьянению. Не только любовному, но и алкогольному, пьянящей радости весны, молодости, свободы. От такой сугубой трезвости Дионис наверняка зачах бы. Простому смертному также нелегко сносить житейские эмоциональные бури без расслабляющих минут опьянения. Можно терпеть, покуда думаешь, что это всего лишь переходное состояние. Переход от сна к бодрствованию, и пробуждение не всегда приятно.

Один из венгерских лагерей находится в Новороссийске, где пленных используют главным образом как грузчиков в порту. Доводилось им грузить рыбу, тюки с хлопком, боеприпасы. Все шло как по маслу, пока в один прекрасный день не прибыло судно под болгарским флагом и с грузом в виде вина и крепких напитков. Разгрузочные работы в тот день закончились, не начавшись. Магьяры забрались в трюм и выбили из бочек затычки. Вечером бригаду из тридцати семи человек подъемным краном извлекли из трюма и сложили на берегу. Правда, в наличии оказалось только тридцать пять человек, двоих недостающих отыскали лишь к утру: они завалялись за бочки.

От выпитого бригадой вина все полторы тысячи обитателей лагеря два месяца ходили как с похмелья. Дни напролет высматривали, не появится ли на горизонте корабль с болгарским флагом на мачте... Еще раз подчеркиваю, пробуждение не сулит добра. Пусть уж лучше тянутся дни монотонно и однообразно, не приплывают из Болгарии бочки с вином, не приходит почта из Венгрии. Ведь эти встряски пьянят, а вслед за опьянением наступает тяжкое похмелье.

Но почта и не приходила долгие годы. В 1943-м, 44-м и 45-м до лагерей добралось всего лишь несколько открыток по линии Красного Креста, но и из них дай бог если одна-две дошли до адресата. Достаточно сказать, что когда Бела Шомоди, капитан Генштаба, получил из дома ответное письмо, этот факт стал сенсацией и газета «Игаз Со» посвятила ему статью и поместила фотокопию письма.



Никто не знал о судьбе своих близких. Безвестность еще больше усиливала душевное оупение и чувство полнейшего безразличия. Пленные японцы рассказывали, что они тоже не получают писем из дома, да и не ждут. Когда японский солдат отправляется на войну, вся семья облачается в траур и оплакивает его. Если ты солдат, то, считай, уже покойник. Кто же станет писать письма покойнику?

\* \* \*

Весной 1946-го почтовая связь наладилась, пришли первые письма. Многие не выдерживали страшных потрясений. Большинство из тех, кто получил плохие вести, не верили им. Зачастую приходилось наблюдать, с каким равнодушием воспринималось известие о гибели родителей, братьев или детей, о сгоревшем дотла доме. Вероятно, срабатывало чувство, что подобные жесточайшие удары — неотъемлемая часть плена: кончится плен, и все беды пройдут. А покуда и слезы лить не стоит.

Но дурные вести оказывались уделом не каждого. Приходили и радостные сообщения: «Все живы-здоровы», «Получили земельный надел», «Наш Петер на Западе». Это пробуждало к жизни, вызывало радостное возбуждение. «Корова наша — та, что брыкучая, отелилась», — написали из дому Иштвану Булаки. На седьмом небе от радости он рассказывал всем и каждому, что у Рыжухи всего три соска, а молока она дает больше, чем иная о четырех. Вот жаль только, что вечно норовит подойник лягнуть.

Одними рассказами Булаки не удовлетворялся, его распирало от желаний активно отреагировать. Раздобыв открытку, он сел писать ответ: «С глубоким прискорбием сообщаю, что я жив...» Не он один додумался до такого зачина, этими же словами начинали свои послания другие люди, и в других лагерях. Инстинкт подсказал нужное выражение, вобравшее в себя всю сложность жизненного восприятия. Я посвящаю этому целую книгу, а здесь в нескольких словах заключена вся суть.

«Поставьте Рыжухе загородку», — продолжал Булаки. Да не вызовет у читателя улыбки эта фраза. Она — грандиозна и свидетельствует о том, насколько способен человек противостоять стихийным ударам. Вот уже, казалось бы, повержен наземь, пребывает в бессилии и беспомощности, ан нет — шевелится, полон желаний действовать, шлет указания. Эта фраза напоминает Наполеона, который при свете пожара в горящей Москве пишет письмо в Париж о смещении директора Комеди Франсез и назначении преемника. Здесь только масштабы иные, а смысл поступков один и тот же.

Первые полученные из дома открытки (если в них содержались хорошие вести) передавались из рук в руки. Кто не получает сам, одалживает у другого, читает и перечитывает, словно адресованное лично ему, и наконец с тоской возвращает адресату. Находятся желающие выкупить чужие письма, не жалеют миски похлебки или пайки хлеба, лишь бы быть не хуже других. Как только наладилась почта, мигом возросла ценность воспоминаний.

Но первые открытки придут лишь после окончания войны, да и то не сразу. Мы же пока находимся на начальной стадии, на самой низкой отметке эмоциональной жизни, когда все воспоминания вмещаются в одном-единственном вздохе: «Ах, мама!», или «Илуш», или «Розика». Это все, что оставалось тогда в нас от Венгрии.

\* \* \*

В глубине сумрачного барака чей-то сумрачный голос. Он раздается в отдалении, а потому стирается, тускнеет, пока доходит сюда. По звучанию его не узнала бы и родная мать, но мы мгновенно узнаем по странному обертонам. «...и ежь, сколько хожь...» Не «ешь» и «хошь», а именно так. Это Хорват, он родом из комитата Зала, отсюда эта характерная звонкость глухих согласных. В данный момент он пытается втолковать соседу, почему немецкие автоматы отказывали на морозе. Нет, масляная смазка тут ни при чем. У Хорвата на этот счет собственное сообра-

жение. «У русских автоматы куда как лучше». Сосед возражает: «Тарахтят, громяют, будто железный лом». «Зато стреляют!» — припечатывает Хорват. Спор продолжается некоторое время.

Воскресный день, многие спят. Кто не спит, просто лежит, тупо уставясь в дощатый потолок или настил верхних нар. Спор в глубине барака продолжается, набирая силу. Стоит к нему прислушаться. Любой, чей слух привык к замедленному пульсу времени, кто даже впотьмах способен различать голоса и освоил специфику подобных бесед, тот знает, что речь идет отнюдь не об автоматах. Не о том спор, и не на эту тему. Это всего лишь вступление, разминка, подобно тому как цыган для начала пробует на скрипке сложные пассажи. Прислушаемся к голосу Хорвата. О чем это он? Ну да, вот и произносит заветные слова: «Эх, сейчас бы мясца...» «Не «мясца», а «мясца», потому как в его краях выговаривают именно так.

Вот мы и у цели: у жажды поесть, у «мясца». Конечно, это случайно, поскольку спор с таким же успехом мог бы устремиться в другое русло — в тоску по родине. Тогда сейчас разговор шел бы о том, останавливается ли скорый поезд на станции Лепшень или нет, и если останавливается, то на сколько минут и забирает ли паровоз воду... Спор выплескивается за эти рамки, растекается широкими кругами. Скрипят доски верхнего яруса, кто-то садится на нарах. «Ох, уж этот Хорват! — вступает в разговор невидимый собеседник. — Он и глину готов сожрать, если скажут, что это мясо...» Все, кто не спит, прислушиваются. Тотчас вмешивается и Хараста — до войны он служил контролером на сахарном заводе и разбирается во всем на свете. В Польше, повествует он, есть такие обнищальные деревни, где люди действительно едят глину. Правда, и глина там хорошего качества, голубая. Ее промывают, потом жарят на угольях и едят. В точности как мясо... С чего бы разговор ни начался, кончается он неизменно этим. Две темы — это суть всех фраз, смысл жизни: тоска по родине и муки голода, вагон-теплушка и сало с паприкой. И не известно, какое из этих чувств сильнее.

Тоска по родине — целомудренное чувство; когда думаешь о родине, невольно закрываешь глаза. Не для того, чтобы лучше увидеть ее мысленным взором, а чтобы другие не догадались о твоих мыслях. Ведь и сам себе неохотно признаешься, что тоска, которая гложет сердце, зовется тоской по родине. За исключением поэтов и политиков, обычный человек очень редко произносит такие слова, как «люблю свое отечество», «моя отчизна», «моя родина». О жизни и родине думаешь лишь в тех случаях, когда той или другой угрожает опасность.

Ностальгия — постоянная составляющая плена, она заполняет месяцы и годы, непрерывно, без промежутков. В тот день, когда возникает опасность, ей неизменно сопутствует страх: вдруг да не увижу больше Венгрию! Говорить об этом страхе не приличествует. Тоска по родине действует в глубине души, исподволь; так же неприметно заняты своим делом подземные воды. Но пусть не вводит вас в заблуждение эта скрытность.

Тоска по родине гнездится в глубине каждой мысли. В каждом вопросе, каждом отклике таится иной, извечный вопрос: «Когда же домой?» Ударение ставится на слове «когда», поскольку неопределенность срока вынуждает страдать, а суть заключена в слове «домой», ибо не воли нам не хватает, а родного дома. Из ста опрошенных лишь четверо ответили, что променяли бы родимый дом на полную свободу. Остальные девяносто шесть рвались домой — в Мишкольц, Сарсо или в Будапешт. Остановимся на этом моменте.

Чем отличается плен от свободы? Ответ напрашивается сам собой: тем, что отделяет одно от другого, то бишь колючей проволокой. Но этот ответ несостоятелен. В 1943-м из Моршанского лагеря совершил побег русин по имени Юон Тур. Задиристый был парень, крутого нрава, драчун. По-русски говорил хорошо и неделю спустя обретался уже где-то в окрестностях Саратова. Там нашел приют у некой вдовы; женщина его полюбила, кормила-

поила, снабжала всем необходимым и заклинала Тура остаться с ней. И что бы вы думали? Через три месяца Тур объявился у ворот лагеря и попросился обратно. Охранники его впустили, начальник лагеря погрозил ему пальцем, но потом долго потешался над курьезностью случая.

Все допытывались у Тура, с чего ему вздумалось возвращаться. Он знай пожимал плечами. Но потом все-таки удалось выведать: страшно было, что остальные рано или поздно разъедутся по домам, а он, Тур, застрянет здесь... Вдумаемся хорошенько: описываемые события происходили летом 1943-го, когда немцы шли на прорыв фронта меж Орлом и Курском. В ту пору Тур мог с таким же успехом надеяться на возвращение домой, как на царствие небесное. И все же он вернулся в лагерь. Поэтому и хочется подчеркнуть, что плен от свободы отделяет не колючая проволока.

\* \* \*

Несчастье плена не в стиснутости пространства. Плен — категория не пространства, а времени. Кого бы я ни спрашивал, все до единого чувствовали себя пленниками времени. «Готов дать подписку отбыть здесь до будущего Рождества, только бы знать наверняка, что отпустят домой», — говорит даже тот, кто твердо надеется отбыть домой через две недели.

В усманском лагере был некий старший лейтенант, на гражданке государственный служащий из Пешта; узнать его имя мне не удалось. В 1946-м он впервые получил весточку из дома. Жена закончила открытку следующими строками: «Брата твоего арестовали. Вчера состоялся суд, он получил пять лет. Тебя ждет то же самое, если вернешься домой...» Смеху было в лагере! Веселились в особенности потому, что готовился к отправке на родину эшелон с больными, и наш старший лейтенант попал в список отъезжающих. Этакое неслыханное везенье, если бы не пять лет тюрьмы. Но счастливчик ничуть не расстраивался. Когда к нему приставали с расспросами, отмахивался: «Эка важность, посадят — отси-

жу! Зато хотя бы буду знать, что пять лет и ни днем больше... Главное, попасть домой!» Домой он попал.

Можно назвать это истерией времени или как угодно по-другому, но от этого чувства неясная, мрачная тоска по родине становится острой, жгучей. Время расплывчато и неуловимо. Дни утекают словно вода в песок, завтрашний день не имеет очертаний, человек не чувствует почвы под ногами и готов ухватиться за что угодно, лишь бы вновь обрести равновесие. То и дело рождались слухи, летали «утки», и чем более невероятным было их содержание, тем охотнее им верили. «Сперва отправят французов, потом сербов, а в третью очередь пойдет транспорт с венграми. Еще два месяца продержаться...»

Достаточно ненароком оброненного слова, чтобы слух распространился со скоростью пожара. Иной раз и слово-то не обронено, однако авгуры умеют истолковывать приметы.

Харч улучшается — ясное дело, скоро домой. Снабжение стало хуже — не иначе как экономят средства, дорога влетит в копейчку... Когда же в дорогу? В начале месяца, на Пасху или к зиме — а там снова-здорово, все те же пророчества, до очередного верного признака, до очередной точной даты. В случае необходимости на кого-то сослаться, хоть из-под земли достанут какого-нибудь капитана или рядового красноармейца, который подтвердит: мадьяры вернутся на родину... Сосед мой, Йожеф Дожа, сельский учитель, еще полтора года назад сложил свое барахлишко в сундучок. Так и ждет в полной готовности, распаковывать не собирается.

Всегда отыщется какое-нибудь «официальное» лицо, которое назначит очередную близкую дату. Это поддерживает равновесие духа. Именно поэтому возвратился в лагерь Юон Тур. Ведь даже самый недолговечный слух дороже долгой и прочной любви. На воле можно есть, пить, иной раз обнять женщину. Зато здесь можно верить, а для бесприютного пленника эта вера превыше всех благ.

Должно быть, поэтому число побегов из лагерей ничтожно. Другая причина, возможно, заключа-

ется в том, что беглецов почти всегда возвращают обратно. Изредка разносится слух о ловком побеге с благополучным исходом. Четверо немцев, работавших на ивановском аэродроме, полгода воровали бензин, а в конце 1945-го сели в самолет и улетели. Трое венгров уехали на родину в эшелоне с рудой, направлявшемся в Диошдер. Еще трое, в том числе некий ротный командир — в униформе! — пешком добрались из Донбасса до пригородов Будапешта и из дома прислали письмо в лагерь.

О других случаях я не знаю. Наверняка они были, и слух о них распространялся мгновенно, однако до меня они не дошли. Остальные беглецы через несколько дней или недель оказывались там, откуда подались в бега. Десять дней отсиживали в карцере, затем давали обещание не предпринимать дальнейших попыток. Большинство и не предпринимали. Мне известно о трех немцах, которые однажды добрались от Волги до Москвы. Их доставили обратно, однако после десяти суток карцера они снова бежали. На сей раз пешком дошагали до Кенигсберга; насколько я знаю, это был рекорд. Обратно в лагерь их вернули на самолете.

\* \* \*

Во всем этом нет ничего нового. Подобные строки мог бы написать даже тот, кто никогда не бывал в плену. Человек, наделенный хотя бы начатками воображения, понимает, что тоска по родине — это молчаливое, тихое, но всепожирающее ожидание. Оно подрывает терпение, напрягает нервы, омрачает душевный покой. Но кому довелось это пережить, тот знает, что тоска по родине не только разрушающая сила. Она созидает: создает в человеке новые способности, как любая людская ущербность и нужда. В утратившем зрение обостряется осязание, чахоточному в лихорадочном забытьи предстают удивительные видения; пленников тоска по родине побуждает к раздумьям.

Именно тоска по родине формирует мировоззрение. Путь ему проложила история, этапные поворо-

ты войны и события мирного существования. Все это были факты непререкаемой, убедительной силы. Но и факты эти были бы напрасны, даже проигранная война не сыграла бы решающей роли, если бы целина отупелой, иссушенной души не была бы вспахана и засеяна ностальгией.

Ностальгия вызвала процесс великого самоочищения, сведения счетов с прошлым и с самим собою. Ведь «Когда же домой?» это всего лишь часть вопроса, где вторая половина звучит так: «Каким же образом мы очутились здесь?» И с универсальной точки зрения более существенна вторая половина. Тот, кто задается этим вопросом, лицом к лицу сталкивается с собственным прошлым, обдумывает свои поступки и былые надежды — с досадой, издевкой и раскаянием, как сифилитик — свои давние любовные похождения.

Если взглянуть, на что подвигла нас ностальгия, обнаружатся неожиданные результаты. Предприняв дилетантскую попытку исследования общественного мнения, я составил анкету из двадцати вопросов. Один из них был сформулирован так: «Как бы поступили вы теперь, обогатившись опытом почти двух лет, если бы повторилось 15 октября 1944 года?»<sup>1</sup> Этот вопрос я задал двадцати своим товарищам по несчастью и при выборе старался лишь, чтобы общественная позиция пленных отражалась пропорционально их классовой и профессиональной принадлежности, их общественному составу: чтобы были представлены бедные и богатые, евреи и неевреи, верующие и неверующие.

\* \* \*

Из двадцати опрошенных пятеро сказали, что если бы путч Салаша повторился, они бы и теперь сделали то же, что и тогда. То есть ничего. Мол, выполнили бы приказ. Трое признались, что нынешним умом сообразили бы «бросить оружие»; словом,

---

<sup>1</sup> День захвата власти в стране нилашистами, партией фашистского толка; лидером ее был Салаша.



избавили бы острие топора от необходимости наносить дальнейшие удары. Один из них был торговцем, другой — зажиточный крестьянин, третий — государственный служащий.

Но большая часть опрошенных, то есть двенадцать человек заявили, что сейчас с оружием в руках приняли бы участие в движении сопротивления. Давайте примем их слова на веру, и пусть от имени всех двенадцати выскажется Иштван Тихани, немущий земледелец:

«Приведись еще раз, уж я бы знал, какое принять решение. Приказывай не приказывай, а я бы не стал выступать с немцами заодно. В тот момент была возможность наконец-то вдарить по немцам, но мы ее упустили. Командир наш, капитан Пал Демча, не желал поддерживать Салаша. Наша рота вроде как саботировала, вот у нас и отобрали оружие. Случись такое сегодня, я бы нипочем не отдал оружие, обратил бы его против немчуры. Да и не только я, остальные тоже поступили бы так же. Можешь мне поверить, я наших ребят знаю».

Я спросил Тихани, а почему, собственно, теперь он принял бы такое решение. «А потому как очень уж тянет меня домой, тоскую я по ним». — «По ком?» — «Да по семье моей». И рассказал, что русские взяли его в плен неподалеку от Будапешта, когда он дезертировал из своей части, чтобы повидать семью. В плен он попал 24 декабря 1944 года, в Рождественский сочельник. «Все могло бы сложиться по-другому», — заключил он, и здесь важно не то, что он прав, а то, что дошел он до этой правды своим умом. Ну и от тоски превеликой по дому, по родине... И я снова задал ему вопрос: «Тоска по родине... что это, по-твоему, такое?»

Он отвечает не задумываясь: «Тоска по родине — это тоска по семье».

\* \* \*

Что и говорить, ответ поразительный. Ну а если учесть, что из двадцати человек семнадцать сказали то же самое... В тридцатые годы, перед войной,

я много бывал за границей, общался с венграми. Спрашивал их — скорее чтобы проверить собственные ощущения, — каким образом отражается в их душах тоска по родине. Беседовал в Париже, с рабочими завода Рено, с поварихой в Оксфорде, в Ливии — с врачом и с уличной женщиной. Все они говорили одно и то же, хотя разными словами: это Венгрия. Определенный край; улица; сияющее утреннее солнце; каникулы.

Рабочий в шахтерском районе Бельгии ответил, что у него, мол, одна-единственная мечта: еще хоть разок окунуться в родную речку Задьву. Были и такие, кого влекла к себе Тиса; вода притягивает сильнее, чем земля. Все это, конечно, кусочки мозаики, но, если их сложить, получится некая целостная картина: определенный климат, образ жизни и ее специфический ритм — словом, все, что мы вкладываем в понятие «родина». Те венгры тоже были изгнанниками, хотя их отторгли от родной земли не война и плен; отсталость производства вынудила этих людей эмигрировать за границу. И все же те венгры на вопрос «Что такое тоска по родине?» отвечали так, что в школе получили бы высший балл. Я говорю это без какой бы то ни было иронии — с одобрением. Даже Петёфи не сумел бы выразить лучше.

А вот Иштван Тихани с шестнадцатью сотоварищами вместо того, чтобы тосковать по родине, убивается по своей семье. Что же это означает? Неужто понятие родного края сузилось, а богатые краски его расплылись настолько, что памяти хватает лишь на пожелтелую семейную фотографию на стене, парадный снимок, где запечатлены отец, мать и детишки? Или же и того хуже: истлело, распалось представление о родине, и Венгрия превратилась всего лишь в географическое понятие, розовое пятно, которое можно обнаружить в картографическом атласе, но не в сердце?

Поверим этому? Не стоит спешить. Выслушаем и других. Послушаем поэтов, любовь к родине — это их епархия. Родина для них — осознанная реальность, на этот счет они привыкли высказываться открыто и смело. Вот и здесь, в плену, верные сей ве-

ликой традиции, в каждом своем стихотворении они дают волю тоске по родине. Не будем придирчивы к любительскому уровню, главное для нас — степень искренности. В стенной газете Ивановского лагеря увидели свет нижеприводимые строки капитана Петера Ковача:

В горах Эрдея  
В колыбельке своей  
Лежит свет моих очей.  
И дожждаться невмочь  
Мне сыночка (или дочь)...

«Дочка» попала в скобки, поскольку Ковач не знал, сын у него родился или дочь. Жена была на сносях, когда капитан попал в плен; сведений из дома он не имел. Продолжается стихотворение так:

Горы и степи  
Пусть нас разделят.  
Но вернусь я назад,  
Чтобы знать, не гадать,  
Сын у меня или дочь.

Совершенно очевидно, что нити семейных чувств и тоски по родине сплетаются здесь в единый клубок. Отчизна отождествляется с семьей, семья — дорогое и светлое воспоминание — вызывает тоску и боль. И старший лейтенант Золтан Сентирмаи молит Бога избавить его от этой боли:

Будь что будет,  
Мне все трын-трава.  
Придет другой и создаст сызнова,  
Разрушив мой дом и семью.  
Но об одном тебя, Боже, молю,  
Избавь от страданий ты душу мою.  
Что толку в тоске и печали,  
Когда ты заброшен в бескрайние дали...

Нить та же самая, только цвет ее темнее, настроение мрачней. Однако, судя по всему, обработка материала на этом не закончена. Кое-кто пытается ткать из этой пряжи:

Солнце встанет, и завтрашний день придет,  
Думой о родине сердце живет.  
Ждите, родные, как ждали всегда,  
Мне вас не забыть никогда.

Это стихотворение написано на Урале, в Челябинском лагере; автор — Шандор Варга, гончар из Мезётура. Послание также обращено к семье. Надежда здесь открывает более широкие перспективы, да и под долгожданным «завтрашним днем» явно подразумевается день, когда Варга вернется в Мезётур, потому как там живет его семья.

Все это построение абсолютно против правил. Оно вызывает в нас беспокойство. Все более усиливается подозрение, которое заронил в нас Тихани, сказав: «Тоска по родине — это семья». Становится боязно, уж не порушили ли годы лихолетья осознание венграми своей общности. Народ наш столько раз распадался на стороны, что мы и живем вроде как островками наподобие племени чанго<sup>1</sup>, втиснутого меж мадьяр. Венгр нынешних времен, похоже, окончательно и бесповоротно сорвал с себя «блестательную нации печать», очертил вокруг себя узкий меловой круг, втиснул в него своих родителей и собственных отпрысков и слышать не желает о каком-либо более просторном чувстве ответственности.

Видимо, родина — это действительно тот самый групповой снимок на стене, а семья — отправная точка, мерило, которым каждый из нас мерит себя. В парижском музее под стеклом хранится платиновый брусок, длина которого равно сто сантиметров. Любую длину во всем мире сопоставляют с этим эталоном. Судя по всему, семья тоже своего рода эталон.

\* \* \*

Шандор Паал, до войны учился в Будапеште на ветеринара. Отпрыск благородного провинциального семейства. Во время осады столицы дезертировал

---

<sup>1</sup> Этническая группа венгров.

из части, которую переводили в Германию, и с нилашистской повязкой на рукаве сражался против нилашистов же. Послушаем, что говорит он о ностальгии.

«Странный вопрос, по-моему. Здесь, в плену, я почти не чувствую тоски по родине. Однажды, правда, я испытал острый приступ такой тоски, аж до слез; но случилось это не теперь и не здесь, а девять лет назад, в Австрии. Родители отправили меня туда на летние каникулы, чтобы я в языке поупражнялся. Вокруг были сплошь одни австрияки. Как-то раз отправились мы на экскурсию в горы. Дорога крутая, каменистая, я все ноги в кровь сбил. На вершине горы разулся и обратно шел босиком — двадцать километров. От боли хоть на стенку лезь, а спутникам моим приспичило еще свернуть к озеру, искупаться. Вечером, когда добрались до пристанища, я лег и расплакался. Клял на чем свет стоит Австрию, и австрияков, и горы их окаянные и только об одном молил Бога, скорей бы домой вернуться. Больше уж, думаю, я из Венгрии ни ногой. Было мне тогда тринадцать лет. С тех пор подобных приступов ностальгии я не испытывал.

Здесь? Нет, почти не чувствую. Прежде, когда голод донимал, часто вспоминалась мать. Однажды приснилось, будто она умерла, и я рыдал, оттого что больше уж не отведаю мне ее стряпни. Конечно, иногда тоска одолевает. Возвращаешься в лагерь после работы, промерз до костей, устал, жрать хочется, а тут командуют строиться, дрова, мол, надо таскать. И опять иди по новой, раза два-три обернуться с чурбанами. В такие моменты не по себе бывает. Чаще всего вспоминается одна и та же картина: Будапешт, первый день нового, 1944 года, передо мной на столе большущая миска галушек с маком и высокая сахарница, полная сахарного песка... Очень часто мне представляется... Ну и вообще, домашние застолья. Это и есть тоска по родине. Разве не так?»

Может, и так. Только грустно все это. «Что же здесь грустного? — удивляется он. — Вполне естественно вспоминать лучшие времена, когда тебе худо. Самая живая связь с прошлым — это семья.

Воспоминания о ней самые светлые, а воспоминания, они ведь неподатливые, их не изменишь, не исказишь». — «Тогда выходит, при хорошей жизни тоски по родине не бывает? — не сдаюсь я. — *Ubi bene*<sup>1</sup>...? Ну а Венгрия? Куда же делась Венгрия?» — «Чего не знаю, того не знаю, — говорит он. — Ее я не вижу. Передо мной хаос, он во что-то преобразуется, но даже контуров я не различаю. Невозможно испытывать тоску по тому, что не имеет формы и очертаний. Не знаю я нынешней Венгрии! А вот семью свою знаю...»

Может показаться, будто мы зашли в тупик. Но нет, кое в чем продвинулись. Шандор Паал сформулировал: взамен неизвестного — известное, вместо переменчивого — постоянное, вместо родины — семья. Семья пережила все: отступление, осаду, воздушные налеты. Семья не изменилась, вот разве что известий о ней нет. А у кого нет семьи, тот создает ее из ничего.

Мне попало в руки письмо, адресованное одной девушке. Автор письма поясняет: «Я не влюблен в нее. Мы и виделись-то всего несколько раз. Жениться на ней я не собираюсь... взял и написал просто так...»

«Воспоминания мои сосредоточены на вас. Понимаю, что это бессмысленно, и все же позвольте изложить как Бог на душу положит, безо всякой упорядоченности, одно впечатление за другим. Пляж в Большом лесу Дебрецена. Открытый, звонкий смех на променаде; помню даже Ваше голубое платье; Кройцберг или как там его звали, того искусного танцора в театре на улице Надьмезе (видите, название театра никак не могу припомнить), воскресные визиты в Ваш дом, когда матушка Ваша угощала меня свежими коржиками и шуточно журила, отчего, мол, я так много курю (видела бы она, сколько я курю теперь!); какое-то непонятное чаепитие, то ли бал в «Бристоле». А помните, как я поджидал Вас после школы у лавки Пошнера? Пасха 1942-го, последняя Пасха на родине, в кинематографе на-

---

<sup>1</sup> *Ubi bene, ibi patria* (лат.) — «Где хорошо, там и родина».

против Западного вокзала; названия кинематографа тоже не помню, зато фильм явственно передо мною, а еще ярче запомнилось праздничное настроение. Впрочем, лучше не продолжать, ведь я мог бы исписать многие страницы. Этого достаточно. Наверное, это и принято называть ностальгией. Это необходимо каждому человеку — не называйте романтикой, это действительно необходимо, в той или иной форме...»

Пожалуй, приведенной цитаты достаточно: письмо говорит о многом, оно гораздо красноречивее рассуждений Шандора Пала. Прежде всего обращает на себя внимание та расплывчатая, неясная картина родных мест, какая сохранилась в памяти автора письма за годы плена. Он не помнит названия театра на улице Надьмезё. Признаться, я тоже не помню. Он не знает, уцелела ли эта улица со всеми ее увеселительными заведениями и странной лавочкой, где торговали губками. Я тоже не знаю. Ничего не знаю. В газетах писали, что Будайская крепость сгорела, мосты через Дунай взорваны, Чепель лежит в руинах... Что значит «в руинах»? Как королевский дворец в Вишеграде? Как выглядит порушенная страна и какою станет, когда ее отстроят заново? Куда делась улица Сеп и проспект Тёкёли, Восточный вокзал и мост у Тахи? Куда вы подевались и какими станете Будапешт, Задунайский край, Венгрия?

Стало быть, это хаос, о котором говорил Шандор Паал. Родина, которая сделалась неосязаемой, перевернулась вверх тормашками и парит над землей подобно миражу. Об этом свидетельствует письмо. Но это еще не все. Автор письма, Янош Вереш, до войны механик точных приборов на крупном предприятии, на фронте угодил в штрафбат и в плену за все время получил письмо лишь раз. В нем сообщалось, что всю его семью — отца, мать и брата куда-то угнали полтора года назад. С тех пор о них ни слуху, ни духу.

Дома, улицы, вся страна испарились, рассеялись, как дым. Исчезла и семья. Но надо кому-то писать, ведь человек не способен парить в безвоздушном пространстве. Встречался с девушкой считанные разы, не влюблен в нее и жениться на ней не соби-

рается. Написал письмо просто так... Газета «Негритянский ребенок» когда-то поместила объявление: за три пенгё миссионеры берутся обратить в истинную веру негритянского младенца и при крещении наречь именем жертвователя. У одиноких дам подчас набиралось до двух десятков крестников, по трешке за душу. Двадцать маленьких сарацинов... Человек не способен жить в одиночку.

\* \* \*

Облик родины стерся: сколько венгров, столько Венгрий, но ни одна из них не настоящая, не подлинная, не живая. Тоска по родине облачилась в единственную реальность, которая запечатлелась в памяти четко и ярко: в семейный круг, покой и благополучие. Любовь к родине как в бомбоубежище укрылась в узком, тесном закутке, который отсюда мнится незыблемым. Семья — это звезда, мерцающая над З́агоном. Отсюда, издалека видна лишь эта звездочка — сам З́агон и родина скрыты за снежными хребтами гор.

Родина изменила свой облик, но не перестала существовать. Бессонными ночами пленный всматривается в непроглядный мрак, силясь припомнить образ младшенького братца, картину лета у берегов Балатона, сочные краски осени в горах. Родина изменила облик, тоска по родине вырядилась в чужие одежды, но она жива, и голос ее звучит неутомимо. Он пронизывает собою все, что есть, и все, что будет. Он звучит непрестанно, непрерывно, неумолчно, как органичный фон меняющейся мелодии.

Так будем же стараться всегда улавливать этот звук. Без него оказалось бы бессмысленным все последующее.

## **ФЕРЕНЦ ПОРА И ШМАТ САЛА**

Голод почти не описан в литературе. Это тем более поразительно, что действенная часть человечества с большими или меньшими перерывами посто-



янно голодает. Поразительно и потому, что именно те люди, чье основное занятие — писательское ремесло, стоят у котла, где варится жидкая похлебка. И все же пишут об этом мало. Я не вникаю, умалчивают ли они из деликатности или мудрой предосторожности. Не вникаю, отчего они предпочитали писать о роскошных международных экспрессах, любовных вывертах избалованных барынь, гнусных страстишках одиноких людей и ловко спланированных убийствах, хотя ко всему этому писатели вроде бы не имеют отношения. Подчеркиваю лишь, что о голоде написано гораздо меньше, чем следовало бы. И теперь, когда я вынужден писать об этом, я с опаской делаю каждый шаг, подобно человеку, ступающему по болотным кочкам, нехоженой тропею.

Сразу не считаешь, сколько слепцов описали свои чувства и переживания, историю собственной слепоты. А много ли голодающих совершили подобное? В чем причина этого несоответствия? Быть может, причина в том, что слепые в основном писали в расчете на зрячих, пытаюсь передать, каково это — не видеть белого света. Но ведь голодающий не знает, для кого он пишет. Для того, кто голоден, или для того, кто сыт? В давние поры, в период христианского мученичества паломник-христианин рисовал на песке у ног встречного изображение рыб. Это был символ. Если голодный человек встречается с кем-то, он, как правило, говорит в открытую: я голоден. Если другой тоже голоден, он поймет его. Если нет — даст кусок хлеба. Слов нет, правильный поступок. Но сейчас, когда у нас пойдет разговор откровенный и недвусмысленный, я должен заранее заявить, что куском хлеба голода не заглушить.

Голод — это муки Тантала. Непреходящие, неутолимые. Голод — это душевное состояние, вызванное физической неудовлетворенностью. Ведь бесспорный факт, что пища действует удовлетворительно. Какая-нибудь булочка или фрукты поддерживают жизненные силы, шницель по-венски уже дает возможность человеку, который голодал сегодня, поголодать и завтра. Нет нужды подробно

растолковывать, что вынужденное голодание после расстройства желудка или воздержание от пищи в Страстную пятницу не означает голод, ибо не сопровождаются Танталовой безнадежностью; напротив, предвкушение завтрашнего мясного супа и бараньего жаркого скрашивают этот временный отказ от еды. Голод, о котором идет речь, — это, по сути — неукротимый, панический, инстинктивный страх голодной смерти.

Все это необходимо отметить, поскольку прежде мы уже упоминали, что основное жизненное впечатление от плена — это постоянное чувство голода. Наряду с тоской по родине, только более сильное, осязаемое и грызущее; голод определяет характер любой эмоции, мысли и поступка. Плен — это диктатура голода, как правило, без исключений, а если таковые и имеются, я с ними ни разу не сталкивался и слыхом не слыхал. Бывают, конечно, случаи, когда признаки стираются. Лагерная жизнь дает широкий простор для индивидуальных проявлений. Некоторым удается сделать блестящую карьеру: повара, пекари, кладовщики, так называемые политработники или портные и сапожники. Эти практичнее, пошустрее, месяцами, а то и годами живут, не испытывая мук голода. Они даже не говорят о нем, и может сложиться впечатление, будто про голод и думать забыли. Но какой-нибудь пустяк выдает их. Иной раз достаточно одного жеста или манеры поведения за едой. Если и сыщется среди пленных человек, кого голодный страх уже не держит за глотку, все равно голод тенью крадется за ним по пятам.

\* \* \*

Что же это за кошмар, с которым в плену сталкивается каждый и который порождает этот страх? Ведь причин тому на поверхности не просматривается. Питание пленных определяется центральными директивами, согласно которым каждому положено в сутки:

*белки — 65, 9 г, жиры — 35, 9 г, углеводы — 422, 2 г.*

В калориях получается 2320 единиц. Это так называемая единичная норма, положенная каждому лагерному обитателю, работает ли он, выполняет ли задания в самом лагере или работы вне лагеря, связанные с самообеспечением. Однако тот, кто занят постоянной производственной деятельностью на заводах или в сельском хозяйстве — а таких большинство, — сверх того получает еще 25% дополнительно, что в общей сложности составляет 2900 калорий, то есть при всех обстоятельствах достаточное для организма количество горючего. А значительная часть работающих венгров получает еще прибавку за добросовестный труд. Как ни взгляни, этого достаточно.

Если 2320 калорий пересчитать на реальные продукты, то суточная норма состоит из шестисот граммов хлеба, трех порций похлебки и порции тушеных овощей... Тоже ведь не сказать, что мало. Почему же все-таки мой приятель Ференц Пора, съев поутру котелок супа и хлебную пайку, «заглотив», как он обычно выражается, сразу же подсаживается ко мне с возгласом: «Да-а, теперь бы подзаправиться!»? На родине Пора служил сторожем-обходчиком на виноградниках под Эстергомом. Платили ему пшеницей и деньгами, а кроме того, перепадало от щедротлетней природы: где черешни со сливой, где винограда и орехов грецких. Не бог весть как много, но мне он с тоской повторяет: «Дома-то я об эту пору...»

А дома в эту пору Ференц располагался на вершине холма, разводил костерок и чистил два кило картошки. И это вовсе не так уж много, потому как от легкого завтрака и следа не осталось, а еще не один час ждать, покуда не явится сестренка с обедом. К картошке надобно луковицы порезать — штуки четыре-пять, но крупных с кулак, и очередь за салом. Сала должно было хватить на целый день, и Пора отрезал от шмата ровно столько, сколько требовалось для тушеной картошки с луком да паприкой. «Во, гляди!» — говорил Пора и каждый день показывал, сколько сала отрезал. Отметку делал на левой руке, между локтем и запястьем, примерно там, где в былые времена по приговору суда отру-

бали руку холопу, уличенному в воровстве. И этакий оковалок он кромсал на кусочки, вытапливая жир для стряпни. Не верится, что за целую неделю Ференцу Поре перепадал такой здоровенный шмат сала, какой он зараз скармливал себе в мечтах.

Во всем остальном Пора отличался трезвым рассудком, был человек обстоятельный, здравого ума, как и положено сторожу. Где и когда он успел так наголодаться, что с тех пор никак насытиться не может? Его я об этом не спрашивал. Но несколькими месяцами раньше в лазарете номер 4778 рядом со мной лежал Берци Надь, виноградарь из Эгера. Его трапеза была ничуть не хуже, чем у Ференца Пору, с той лишь разницей, что этот стряпал для себя не картофельный паприкаш, а лечо. Видимо, Надь мог позволить себе роскошествовать. Не знаю, большой ли был у него виноградник, но кроме вина он поставлял на эгерский рынок деликатесные сорта помидоров, а его винный подвал, вырубленный в туфовой скале, был настолько просторным, что там без труда могла развернуться телега.

Я сидел на краю постели Надя, когда он умер, а рассказ его поразил меня до такой степени, что я счел необходимым его записать.

\* \* \*

На Дону Берци Надь занимал оборону при пулеметном гнезде, глубоко врытом в снег. Наступление застигло их врасплох, Надь и опомниться не успел, как очутился под дулом автомата. Он хотел поднять руки, но автоматчик решил, что неприятель собирается стрелять. И русский выстрелил первым. Пуля прошила Надя почти по вертикали: вошла под глазом, прошила мягкие ткани лица и вышла у рта; затем по траектории вновь вошла в тело, пропорол грудную мякоть и вылетела из-под над реберья. Словом, безобидное ранение, которое на первый взгляд казалось смертельным. Надь приготовился к смерти и был крайне удивлен, когда в первые же сутки отмахал к Востоку сорок километров. Он и его товарищи по несчастью брели пятеро суток, изредка ели, но

в основном пили кипяток или талую воду. На пятые сутки добрались до какого-то сборного лагеря. Все это время Надь с часу на час ждал смерти. В лагере их продержали двенадцать дней и за это время есть давали раз пять-шесть. Здесь нет ничего удивительного. Советское командование на Дону ждал двойной сюрприз: во-первых, на редкость слабое сопротивление, а во-вторых, колоссальное число пленных. Длинная линия фронта вдоль Дона, где находились немецкие, венгерские и итальянские части, была прорвана и рухнула, как саманная стенка. Даже не вдаваясь в подсчеты, можно сказать, что в плен были захвачены сотни тысяч солдат, из них шестьдесят тысяч венгров. Наступление, как известно, продолжалось не одну неделю, перехлестнув даже харьковскую линию обороны. При таких условиях, в жесточайшие зимние морозы, только собственные тылы подтянуть и то стоило неимоверных усилий, а что уж говорить об обеспечении пленных.

Любой плен всегда начинается с лишений. На двенадцатые сутки пленных наконец погрузили в теплушки. До отправления эшелона Надь слез с поезда и стал околачиваться у станции. Голод терзал нестерпимо. Навстречу ему попала старуха крестьянка в валенках, с буханкой свежего хлеба под мышкой. Надь, не говоря ни слова — да он и не умел говорить по-русски, — уставился на хлеб. Как он объяснял, и смотрел-то вовсе не потому, что хотелось хлеба: через эту стадию — по его словам — он уже давно прошел. Просто прикидывал на глаз, будет ли в буханке три кило. Женщина остановилась. Голова ее была замотана толстым платком, лица почти не было видно, но Надь описал его в деталях — и серые глаза, и восковой желтизны нос пуговкой. Женщина, тоже не произнеся ни слова, отломила горбушку и протянула Надю.

Надь схватил хлеб, затем полез в карман и вытащил мятую, рваную трехрублевую бумажку, свою единственную ценность. Разумеется, той зимой в злополучном краю, через который без конца прокатывался фронт, хлебу не было цены в рублях и даже в золоте. Хлеб означал жизнь, а жизнь денежного

выражения не имеет. Женщина покачала головой, видно, раздумывая, затем отдала Надю всю буханку. По-прежнему не проронив ни слова, повернулась и ушла. А Надь направился к эшелону. И тут он увидел, что двери всех теплушек распахнуты, и шестьсот человек — немцы, венгры, румыны, итальянцы — молча, затаив дыхание, следят за этой сценой. Шестьсот человек не сводили глаз с Надя, ковыляющего к своему вагону. Вернее, смотрели они, конечно же, не на него, а на хлеб — отломленную горбушку и почти целую буханку.

Переезд занял семнадцать суток, из сорока двух человек в вагоне живыми добрались до места девятнадцать. Эшелон подолгу стоял, без конца пропуская встречные составы. Было холодно, железная печурка, скупясь на тепло, щедро изрыгала дым. Надю досталось место на полу, под нарами. Хлеб он завернул в тряпицу и разделил на четырнадцать дней. По ночам клал его под голову. За время пути пленным дважды давали какую-то соленую рыбу, три раза сухари и раз десять картошку — по десять штук на человека, мелких, мороженных. Хлеба ни у кого в вагоне не было, только у Надя.

Двенадцатую ночь поезд мчал без остановок. Печурка на полу отплясывала, доски трещали, точно ломаемые кости. Внезапно на верхних нарах кто-то расхохотался и хохотал, хохотал без умолку. Спящие проснулись. «Припадок у него», — переговаривались люди между собой. Через какое-то время хохот смолк, сменившись неистовым воплем: «Хлеба! Хлеба! Хлеба!» «Кто это?» — поинтересовались снизу. — «Шош», — прозвучал ответ. Берци Надь сел и сказал: «Помолчи, браток. Сейчас пришлю тебе хлеба».

Хлеб лежал за спиной — только руку протяни. Оставалось лишь взять, отломить кусок и сунуть соседу: передай, мол, дальше. Надь сидел не шевелясь, но мысленно проделал все эти движения. Даже снова завернул хлеб в тряпицу. Затем сел и замер в ожидании. Мозг его действовал так, как предписано человеческой моралью, правилами чести и товарищеской солидарности, но нервы отказывались

повиноваться мозгу. Они подчинялись инстинктам, а инстинкты параличом сковали руки, страшась смерти больше, чем бесчестья. Объяснение исходит от меня, не от Берци Надя. Надь всего лишь сказал, что хлеб он так и не дал и очень удивился, когда Шош снова поднял крик: «Хлеба! Куда там хлеб подевался?»

«Я переслал», — ответил Надь. Вспыхнул скандал. Все на чем свет поносили вора, который не посовестился украсть хлеб у тронувшегося умом человека. «Промежуточные звенья» клялись, что хлеба в глаза не видали. Наконец Надь не выдержал и вмешался: «Посылаю, Шош. Но это уже второй раз...» Однако не послал. Сидел как ни в чем не бывало, уставясь в темноту. Она была чернее, чем в угольной шахте. Надь снова отломил кусочек с полным ощущением, что передает его дальше, и принялся ждать. Его вернул к действительности лишь очередной скандал. Тут он понял, какую безобразную шутку сыграл с ним страх смерти. На сей раз он действительно отослал хлеб. Шош проглотил его и утихомирился.

У Надя тряслись руки, когда он рассказывал об этом, хотя с момента переезда прошло уже полгода. Несколько дней спустя он умер от истощения организма. По-моему, душераздирающая история несколько затянулась. На первый взгляд она кажется сугубо личным переживанием одного отдельно взятого человека. Но путь от фронта, от эшелона к эшелону, до лагеря пришлось проделать каждому пленному. Бесчисленные рассказы очевидцев подтверждают, что такого рода страх, который я бы назвал паническим страхом голодной смерти, рождается именно в этот период. Случай с Берци Надем — словно под микроскопом, при тысячекратном увеличении — демонстрирует весь процесс; во время рассказа Надя я и сам боялся, как бы не умереть с голоду. Я не умер, да и другие тоже, но страх возникает именно так. Теперь понятно, пожалуй, отчего шмат сала достиг в воображении Ференца Поры таких неправдоподобных размеров. Уделим ему — если не по локоть, то хотя бы с ла-

донь величиной. Когда от голодного страха человеку мерещится сало, этакой малости он наверняка заслуживает.

\* \* \*

Словом, панический страх голодной смерти овладевает человеком после захвата в плен и длится, пока не попадешь в лагерь. Нет ни одного пленного, кто не испытал бы этого потрясения. Человек рождается и вырастает при определенном общественном порядке, у которого есть свои писанные и неписанные законы и в котором — будь он счастлив или несчастен — каждый чувствует себя в своей тарелке. Вихрем войны человека выхватывает из привычной обстановки и забрасывает в другую — в плен, который, будучи неволей, все же являет собой определенный порядок с писаными и неписаными законами, четким распределением времени, правами и обязанностями. Но пока из одного мира перейдешь в другой, намыкаешься на ничьей земле, успеешь впасть в первобытное состояние, в каком человеку не доводилось жить тысячелетия. Он становится доступной добычей морозов, безжалостных грабителей, болезней, жажды и голода. В первую очередь голода.

По сравнению с этим даже война со всеми ее ужасами кажется надежным прибежищем. Там тебя окружает масса людей, защищает огнестрельное оружие, окопы и бетонные укрытия — здесь губит голод, поглощает чужбина, погребает снег. Чувство полной беззащитности, душевное смятение, паника — вот что сражает каждого. Примером тому — история этапа, с которым добирался до лагеря Берци Надь.

Бесконечные колонны вдоль шоссе дорог, битком набитые эшелоны... и все эти странники стремятся в лагерь, как путешествующие по бурному морю — в тихую гавань. 2320 калорий влекут словно золотое руно, и хотя цифр этих никто не знает в точности, но предполагает. А иной раз предполагает больше, чем может предоставить реальная



действительность. Те, кто пострадал от неорганизованности, жаждут спасения в организации жизни. Однако порядка пока что во многих местах еще нет, подчас за него всерьез приходится бороться, ведь чудо с пятью хлебами и двумя рыбами не повторится. А в результате странник, утративший почву под ногами, и по сей час не в силах ее обрести. Хотя вокруг видишь только проявления гуманности и добрые намерения. Но между добрыми намерениями и голодными ртами находятся люди, а там, где люди, ошибок не избежать.

В 1943-м и в 1944-м, а кое-где и позднее в сотнях разбросанных по стране лагерей положение в основном было одинаковым. Откровенно говоря, плохим. Хотя намерения — подчеркнем еще раз — действительно были самые благородные. Правительственные органы, предписывавшие строительство лагерей, снабжение пленных продовольствием и одеждой, организацию лечения, санитарно-гигиенических мер и отдыха, в каждой своей директиве придерживались соображений разумной гуманности. Конечно, не стоит сравнивать питание военнопленных с довоенной сытостью или со снабжением английских и американских лагерей. Критерий может быть только один: уровень снабжения собственного населения Советского Союза на тот момент. Общеизвестный факт, что «норма» пленных была выше нормы рабочих. А ведь сегодняшний пленный вчера или позавчера был врагом, к тому же врагом заклятым.

Но зимой и весной 43-го смерть все же косила пленных; даже в следующем году во многих местах потери оказывались немалые. И в 45-м году из некоторых лагерей — по преимуществу новых, только что организованных для приема все прибывающих миллионных масс — доходили тревожные слухи. В чем же причина? Причина была не одна. Иногда руководство лагеря относилось к своим обязанностям не с должной ответственностью. Во время войны контроль и проверку администрации не всегда удавалось осуществить со всей строгостью. Но в основном пленные обкрадывали самих себя.

Склады и кухни, бани и лазареты сделались привольем для расхитителей продуктов. Негодяй, знающий всего несколько слов по-русски, чувствовал себя как царь и бог. В плену уголовных наказаний не существует. У жулика урчало в животе, и он считал, что настало его время. Но это продолжалось недолго.

\* \* \*

Пять часов утра. Все спят. Непроизвольные движения спящих тел, кряхтение, храп и вздохи словно бы исходят не от двухсот сорока человек, а от одного гигантского животного. Незримые стены темноты живут, дышат, переваривают пищу. Пробудись внезапно ото сна и подумаешь, будто очутился во чреве кита... Но вот кто-то шевелится, выползает из своего логова и, ступив в темноте десяток шагов, протягивает руку. Шарит наугад, куда рука не нащупает тело: «Отправляйся за хлебом!» Сперва встает один, затем поднимаются еще трое, и вот уже десять человек разбужены по команде, натягивают башмаки, одеваются. Их очередь идти за хлебом.

Для группы в двадцать — тридцать человек хлебные пайки приносит десяток дежурных. Но просыпаются чуть ли не все, одеваются и выходят во мрак и туман, несмотря на холод и обледенелую дорогу. Чего им не спится? Да они бы и рады поспать, подъем ведь в шесть. И все же неотступно следуют за дежурными, поскольку раздаточная открывается в пять. Сопровождающие тоже толпятся у окошка, при свете коптилки внимательно следят за весами и гирями. Обвешивает, нет ли? Наверняка обвешивает, но ловко. Не уличишь! И все же присмотреть не лишне.

Затем десятку сопровождают обратно. Было время, когда на несущих хлеб нападали с железяками. После пришла пора, когда разносчик говорил, что на него, мол, дорогой напали, поэтому одной буханки и не хватает. На что только не ссылались, но главное, всегда оказывалась недостача. Воровали.

Возможно, в данный момент уже не крадут. Разносчик Митицки отличается особой честностью.

Голодный, но честный. И все же его сопровождают. В бараке хлеб режут и скрупулезно взвешивают на весах, смастеренных из деревянной планки, гвоздя и бечевки; они чувствительны до десятой доли грамма. Бдительные взгляды присутствующих прикованы к весам. Затем пайки распределяют по жребию; узкий коридор пустеет, все расплзаются по своим местам. В руках у каждого хлеб. Некоторые съедают его за один присест, «заглатывают», как Пора. К чему это приводит, мы уже видели, на том же примере. Иной режет хлеб ножом, другой отщипывает по кусочку, третий разводит у барака огонь и варит свою пайку. Этот обычай перенят у немцев, и название жидкой, бурой похлебки тоже немецкое — Brotsuppe, «хлебный суп».

Митицки, в прошлом скорняк, всегда откладывает хлеб про запас. У него два мешочка, сшитых из рваной итальянской рубахи. В один мешочек он кладет свежую пайку, завязывает мешочек и подвешивает к поясу. Из другого достает вчерашний хлеб и съедает. Сегодняшний откладывает на завтра. «Не осилишь, что ли?» — спрашиваю я. Он хохочет. Потом говорит, сколько мог бы съесть, если бы дали. Пустого хлеба шесть кило, уверяет он, а с луком так и все восемь. Охотно верю. Я сам однажды съел целое ведро вареной картошки: повара украли ее и спрятали, а я случайно наткнулся за бочкой с водой. «Тогда чего же не ешь?»

Чтобы на завтра осталось, объясняет он. «Завтра еще дадут». А если не дадут? Поднимется пурга, сани застрянут. Придет приказ грузиться по вагонам, тут уж будет не до раздачи паек. Ни у кого не будет хлеба, только у него. Да одно только сознание: у меня есть хлеб, но я его не ем. Ну и напоследок — возможности... «Какие возможности?» Он снова втолковывает мне: «К примеру, прибудет этап, за дорогу все оголодали. Тут за пайку хлеба отдадут хоть шинель, хоть башмаки. А хорошие башмаки можно выменять на пять кило хлеба...» Митицки улыбается, подвязывает мешочек к поясу и поверх застегивает китель. Капитал он и в драном мешочке капитал — значит, надо беречь как зеницу ока.

Не подумайте, будто Митицки — спекулянт. Не сделка его интересует, просто он голода боится. Исследователь Африки, Кингсли, описывает странность, подсмотренную им у многих примитивных племен: в пасмурную погоду или в сумрак люди стараются не выходить из хижин. Они боятся, потому что не видят собственной тени. На африканского аборигена успокоительно действует его тень, на Митицки — припрятанный хлеб. Плен на этой стадии развития во многом похож на первобытное состояние. Человек вновь вплотную сталкивается с природой, основа его существования — забота о самосохранении. Пленные в большинстве своем сознательно или инстинктивно боятся голодной смерти.

Случай Берци Надя служит примером того, как зарождается этот инстинктивный страх. Случай с Митицки объясняет, почему страх не прекращается, переходя в хроническое душевное состояние. «Вдруг да сани застрянут», — рассуждает Митицки. Понимай так: поднимется пурга, сани с хлебом застрянут, и за ним ведь не пойдешь, потому как пленный, сделать ничего не можешь, стало быть, помирай с голоду. Сегодня хлеб у нас есть, но, если завтра не достанется, бороться за него бесполезно: мы во власти судьбы, рока, духов или божеств. С этого момента хлеб превращается в фетиш.

Пусть не возникнет недоразумений: плен вовсе не означает, будто человек возвращается к первобытному состоянию. Но в двух основополагающих принципах — самосохранения и сохранения рода, то есть в проблеме «хлеб и женщина» жизнь пленного, безусловно, выходит за рамки обычной, нормальной. В этих двух пунктах тело не находит удовлетворения, а душа не получает ответа. В результате смятенная душа поспешно и как попало пытается обрести равновесие. И тут зарождаются обряды и суеверия. Моральные устои человека поколеблены:

ему ничего не стоит в предрассветной тьме напасть с железякой на разносчика хлеба. Логический строй мысли сбивается, активные действия уступают место примитивным обрядам, закон причинно-следственных связей утрачивает главенствующую роль. Все пленные суеверны. Если генерал облачен в новый мундир, значит, готовится транспорт. Сержант Хомороци клянется и божится, что, когда заготовщики дров приносят на кухню одни березовые поленья, жди на ужин мясной похлебки.

Крестьяне вроде Ференца Поры дают волю своей фантазии. Все прошлое их слетело с подпорок, виноградники на эстергомской горе обратились в райские кущи, а домашняя чечевичная похлебка всплывает в памяти как теснящиеся на столе яства одно другого вкуснее. Если четверо уединятся где-нибудь в уголку, остальные издали смеются: «Ну, эти стряпают!» Стоит подойти поближе, и убедишься, речь действительно идет о стряпне. Час, другой, третий люди способны провести в спорах, обсуждая рецепт лечо по-сербски с таким острым перцем, что слеза прошибает, или сдобного пирога с абрикосами, как его пекут в Тисахате. Страсти разгораются, необходим завершающий аккорд... «А ну, позвать сюда Тота!..» Йошка Тот — металлист из Диошдёра. Спрашивается, при чем здесь Тот? «Ну как же! Лучше него никто не расскажет, как готовят «птичье молоко»...» Зовут Тота и он рассказывает — хоть пять раз на дню. Популярность этого номера невероятна. По желанию публики Тот может выступить и с рецептом галушек по-словацки. Это вроде как на бис.

\* \* \*

Интеллигенты не составляют исключения. Я находился среди генералов, когда те «стряпали», хотя стол у них обильнее и вкуснее. Об однообразии солдатского харча, безвкусной каше, овсянке из грубо очищенного зерна и постылой капустной солянке они знали только понаслышке. Среди офицеров хищения в ту пору были столь же обыденным явлением,

как и в солдатских лагерях. Единственное различие заключалось в том, что интеллигенты стремились обуздать свое воображение и придать мечтам хоть какую-нибудь, пускай смехотворную цель. От рядовой массы они отличались тем, что создали кодекс приличий первобытного состояния и иногда даже придерживались его.

Итальянец, капитан по фамилии Галотти, глубоко презирал и высмеивал тех, кто вел разговоры о еде. Стоило поднять эту тему, как он вставал и покидал общество. Зато Галотти собирал рецепты, описание изысканных яств и крестьянских обедов четырнадцати наций. Когда мы познакомились, из венгерской коллекции недоставало лишь маковой бабы и бараньей похлебки с эстрагоном; этими двумя рецептами я пополнил его собрание. Роберт Квест, немецкий летчик с железным крестом в петлице, каждый прием пищи переводил в калории. Изо дня в день подолгу корпел над расчетами, а затем сообщал результат: «Ужин — 270. Но, — добавлял тут же, — это важно не с точки зрения пользы индивида, а из чисто научных интересов». Это тоже не единичное явление; в каждом лагере находились сотни помешанных на калориях.

Среди пестрого люда водились не только учетчики калорий и собиратели рецептов или накопители хлеба, попадались продавцы желудей и грибов. Это не люди с чудачествами, но живые доказательства того, до какой степени панический страх голодной смерти способен возобладать над характером, нервами, рассудком человека. Примерам нет числа, но, пожалуй, удовольствуемся этими. Ведь то время, которое я дерзнул сравнить с доисторической эпохой человечества, миновало. Длилось ли это год, два или чуть дольше, рано или поздно наступал конец. Организация и проверка (а вместе с тем и снабжение) в лагерях для военнопленных улучшилось. Все больше приближалась к предписанным 2320 единицам суточная норма каждого. Разительный контраст между первым моментом плена и последующим периодом отодвигался в прошлое и, чем дальше он отходил, тем больше смягчался удар. Из обвального

го звездопада постепенно формировался новый порядок, микрокосм со своими законами, новый мир. Правда, мир этот узок и тесен, земля и небосвод в нем размером с ладонь, но тем не менее он устойчив и развивается — то есть подобен тому, каким был старый, подлинный мир. В нем можно жить.

\* \* \*

Как его назвать, этот мир? Примирением с неизбежным, постепенным выздоровлением или преобразованием? Новым восприятием жизни или другим состоянием психики? Скажем так: новое самосознание. А теперь посмотрим, что здесь нового.

Впрочем, подождем. Прежде чем взглянуть в лицо этому новому человеку, спросим у него, голодает ли он по-прежнему. И если голодает, то является ли и по сей день рычагом всех его поступков и помыслов голод.

Судя по всему, он голоден. Хотя живет на «норме», будь то на Украине, на Кавказе или на Дальнем Востоке. Свои шестьсот граммов хлеба получает везде, мерзавцы из своих же, кто обделяли хлебом, кашей и картошкой, выведены на чистую воду и больше не воруют. И все же пленный голодает. Впрочем, ведь наперед было сказано: этот голод хлебом не заглушить. Муки Тантала непреходящи и неутолимы. Голод подобного рода не связан с пищеводом или желудком; набей брюхо жратвой, как откармливаемый к Рождеству гусь, и то скажешь: «Эх, вот теперь бы подзаправиться!..»

Тогда в чем же перемена? Приведу дословно один диалог. Осень, воскресный полдень. Двое разлеглись у поленницы и беседуют. Я, невидимый для них, расположился по другую сторону поленницы. Один из собеседников находился в Тагиле, второй — как узнаем впоследствии — в 150-м лагпункте, то есть довольно далеко один от другого. Судьба свела их здесь, в третьем лагере, у поленницы. Беседа ведется негромко, с той обстоятельной неспешностью, с какой говорит обычно скупой на слова человек. Вот их разговор.

«Я тебе еще не рассказывал, как нас кормили в больнице? — начинает тот, что из Тагила. — Тогда слушай! Приносят рисовую запеканку, граммов четыреста-четыреста пятьдесят, из самого отборного риса, и с маслом, конечно, потому как там готовят на чистом сливочном масле. В обед суп — пальчики оближешь, лапша нежная, разваристая, с мясом, конина, баранина, а то и говядина, и поверху жир плавает, все честь по чести. На завтрак бульон, литра два с половиной, двести граммов белого хлеба и порция масла. Что скажешь?» — «Это что! — вступает собеседник. — Расскажу тебе, какое меню было у нас в 150-м... На обед суп, значит... Какой? Врать не стану, овощной или же с мучной заправкой, масло постное, золотистое, слоем чуть не с палец толщиной, миска в края. На второе котлета с кашей. Хлеб, конечно, двести граммов, а потом американский пудинг. Цвет молочный, а вкуса никакого, но все равно, скажу я тебе, приятно. После обеда заходит в палату сестра, витамины раздает: А плюс В, плюс С. А — кругленькие такие шарики, на вкус вроде леденцов, В похож на наши пивные дрожжи, только забродившие, вздутые. Ну а С напоминает раствор фруктового сиропа. Пробовал?» — «Нет, — отвечает другой. — У нас, в Тагиле, крапивой пользовали. Крапива, говорили, витамином С богата...» — «Может, и так... Но я еще не кончил. Обед, значит, в три часа приносили. В полпятого приходила сестра: стакан молока и двести граммов хлеба на подносе и вопрос, ну, как, мол, дела, Йозеф. Дела, говорю, на большой, а она не понимает, только по-своему, по-татарски знает. Я тоже научился считать по-татарски до десяти: “Бер, ике, ёш, дурт, бис” — пять, значит; потом “алт, жиде, сикес, тугос и ун” — это по-ихнему “десять”. “Одиннадцать” будет “унбер”, “жигерме” — стало быть, “двадцать”, “утос” — “тридцать”, “крак” — “сорок”, а дальше не знаю...»

«Я тоже балакал по-татарски, — говорит другой, — да теперь уж успел позабыть. Но я вот что еще тебе недосказал. У нас, в Тагиле, один из поваров венгр был. Времена трудные, три месяца суп из



ботвы кормовой свеклы варили. Повара этого дядя Дюри звали, и якобы был у него в Коложваре ресторанчик с венгерской и румынской кухней... Так вот, в супе у него всегда было полным-полно кузнечиков, они по всей кухне прыгали. Раз как-то вытащил я из супа кузнечика, на стол положил, а он и ускакал... Но нам-то хорошо было, покамест дядюшка Дюри при кухне находился. Был у него приятель, Бабинец по фамилии, бывший фельдфебель из полевой жандармерии. Кто с ним служил, рассказывали, как он на фронте зверствовал, двух русинов палками забил чуть не до смерти, но среди нас вел себя прилично. По вечерам, как стемнеет, встречались они с дядюшкой Дюри во дворе, в нужнике. Иной раз по часу ждать приходилось, пока дядя Дюри появится. “На, Бабинец, держи, — говорил, — да прячь скорей!” И давал ему большущую вяленую рыбину. Бабинец прятал в карман и со мной потом делился. А как-то раз обмолвился, что не прочь бы учиться, ну я и стал его венгерской истории обучать. Дошли мы до битвы при Нандорфехерваре, но тут Бабинца и перевели куда-то на Южный Урал. Очень мы с ним оба расстроились, только не подумай, будто из-за вяленой рыбы. Забыл сказать, что дядюшка Дюри струсил, как бы не прознали, что он приятеля подкармливает, вот он и перестал Бабинцу рыбу давать».

\* \* \*

Что ни день, в тысячах вариантов повторяется этот диалог, который вряд ли кто-то запечатлел, если только не поэты с их эмоциональной чуткостью. В качестве одной из разновидностей исследуемой темы приведу песню, которая пользовалась неизменным успехом на каждом концерте лагеря в Люблино. Публика требовала повторения раз десять. Автор песни — Ласло Будаи, солист венгерского радио. Вот ее текст:

В дальнюю даль уносится мысль моя,  
Туда, где лето в цвету акаций,  
Где сад мой и зеленеющий луг.  
И ночью, и днем думы мои об одном:

Как там живет матушке милой.  
Знать, хлебы печет  
И лепешки отцу.  
Ах, Боже мой, Боже, не нужен мне рай,  
Отнеси меня в отчий край!

В свете вышесказанного ясно, что песне заранее был предрешен успех. Отголоски голодного страха звучат и здесь, но с грустью и чуть ли не с умиротворением. В таком же духе и другое популярное стихотворение; оно очень длинное, я приведу лишь его конец. Автор стихотворения — старший лейтенант Золтан Сентирмаи, а называется оно «Надгробное слово о соленой рыбе». Рыбку в серебристой чешуйке поэт держит на ладони над символическим катафалком и молит о прощении.

Прости рыбаку, что вырвал тебя из привычной  
стихии,  
И соли прости, отравившей твое нутро.  
Прости и меня, не умею писать стихи я  
И давно позабыл, как творят добро.

Я тоже заброшен судьбой на чужбину,  
Где душит меня и страшит дикий мир.  
Пока что он мне не сломал хребтину,  
Но ты отстрадала, а я еще должен страдать.

В этих двух отрывках воплощена основная атмосфера плена: тоска по родине и тоска по еде, как мы уже говорили, но в этом двуединстве решающая, довлеющая — вторая. Она неизбежна и не проходит, даже когда желудок полон, даже когда человек и думать забыл, что такое голод; стоит хоть раз очутиться запертым в горящем доме, и до конца дней будешь бледнеть при звуках пожарной сирены. Чувство не гложет с годами. Впрочем, все это старо как мир; посмотрим, что же нового в нашем самосознании.

Нетрудно заметить: новое — Бабинец. Тот самый, что на фронте зверски бил палкой двух русинов, Бабинец, жертвовавший учителю истории полрыбины, потому как, подстегиваемый неким неясным беспокойством, вздумал учиться уму-разуму.

Жестокосердый Бабинец, который добрался лишь до Нандорфехервара и наверняка ушагал бы гораздо дальше, если бы его случайно не перевели в другой лагерь.

Не поддадимся на удочку «мягкотелого» гуманизма. Не стоит думать, будто бы Бабинец, как принято говорить, «перевоспитался». Другое дело, что Бабинец действительно исправился, но это его индивидуальный путь, его личное везенье. Не следует обобщать частный случай до массового уровня. Не верю, что люди могли исправиться дешевой ценой трехмесячного полуголодного существования. Для этого требуется гораздо больше.

И все же какая-то перемена в Бабинце произошла. Когда он вернется домой, жена через несколько недель заметит: муж не тот, что прежде. Изменился и учитель истории, приятель Бабинца, и оба цитируемых поэта, и даже Митицки. Бабинец исправился на наших глазах, но Митицки исчез из нашего поля зрения. Вполне возможно, что Митицки не исправился, а всего лишь изменился. Это изменение пока что не качественное, а количественное. Герои наши до сих пор развивались не вглубь, авширь. Напрашивается дешевое сравнение. Бабинец будет разговаривать с женой, как человек, освоивший помимо родного еще несколько иностранных языков: французский, испанский, греческий. Или русский. Это трудно подметить, интонация, ударение не искажены, лексика не стала обширнее. Но теперь он и повенгерски должен говорить лучше. Сутью человека остался родной язык, но границы его расширились, он сделался богаче и даже приносит проценты.

Много чего сказано о голоде. Для того, кто голодает или голодал когда-то, все это очевидно до скуки. Для того, кому это состояние незнакомо, даже все вышесказанное может показаться недостаточным. Правда, по Европе прокатилась война, не только обернувшаяся губительными опустошениями, это было победоносное шествие нужды и голода. Эта война завербовала целые армии «добровольно» голодающих, как обычно вербуют добровольцев: принуждением и штыками.

Муки голода — привилегия не только пленных. Но здесь, в плену, это потрясение наблюдается особенно наглядно, наподобие эксперимента в чистом виде. Случись саням застрять, и голод начнет расти и множиться, точно бактерии в пробирке, и выявит особенности бактериальной культуры.

В человеке вспыхнуло подозрение, которое доселе тлело в глубинах инстинктов: на этом свете существует возможность не только жить, но и умереть с голода.

От этого теряется смысл порядка, в котором мы выросли, шатается рассудок, которым воспринимался этот порядок, тускнеют чувства, его озарявшие. Пошатнулись основы не только настоящего, но и прошлого. Выражаясь проще: не только сегодня и здесь, но вчера и дома можно было бы умереть голодной смертью. Само бытие утратило надежность и определенность, разум больше не усматривает в нем закономерностей. Единственное спасение — в царстве вымысла. Как обычно, когда нарушается порядок реального бытия, душа человека съезживается, и вымысел своей шелковой пряжей ткёт кокон, который защищает, греет, вдыхает жизнь.

Тот, кто прежде улыбался чудачествам Ференца Поря, теперь, возможно, поймет его. И признает, что для картофельного паприкаша, который готовится на эстергомском винограднике, необходимо ровно столько сала, сколько, по его словам, клал туда Ференц Поря. И ни граммом меньше.

## ЛОДЫРИ И РАБОТЯГИ

Весть о том, что консервному заводу требуются два десятка рабочих, взбудоражила даже Гюнсбергера. Хотя будучи начальником карцера, Гюнсбургер наедался до отвала, и все равно у него оставалось столько хлеба, что он торговал им — по двадцать пенгё за пайку, а выручку менял на боны, чтобы дома, на родине снова получить чистоганом. За двадцатку хлеб покупали многие, так что Гюнсбергера, который до войны служил в Будапеште типограф-

ским рабочим, по возвращении домой дожидалась кругленькая сумма... Кроме того, были у него золотые кольца и, как поговаривали в лагере, даже доллары, но этого, конечно же, нельзя было утверждать с уверенностью. Факт остается фактом: страж при карцере щеголял в шикарных сапогах, в сшитых на заказ штанах и в перчатках свиной кожи.

Но консервный завод... Пренебречь такой редкой возможностью не мог и Гюнсбергер. Времени, чтобы поразузнать, что да как, не оставалось, у ворот уже поджидал грузовик, а молодцеватый немец Майер, начальник зоны, знай себе усмехался. «Консервный завод», — повторял он и больше ни слова. Гюнсбергер прикинул, какие перспективы там открываются, и решил поступиться доходной должностью при карцере и рвануть на завод. Правда, у Кочиша, например, сомнения возникли: «А что, если на том заводе овощи консервируют или концентрат пшенной каши заготавливают?» — но он и сам не принимает их всерьез, потому как складывает пожитки, тоже на завод собирается.

Все рвутся туда, даже самые отпетые лодыри, которые по утрам на переключке ухитряются улизнуть от бдительного ока надсмотрщика. Записался в добровольцы и Вайсбергер, а уж он был великий мастер отлынивать. Перед ежемесячным врачебным осмотром всякий раз выдувает по два литра чая, перетягивает икры и в решающий день усаживается на стол, свесив ноги. Докторша ткнет пальцем в раздутую, как бревно, ногу — палец аж целиком тонет, и ямка долго остается, назойливо напоминая, что у бедняги Вайсбергера водянка, что он дистрофик, а стало быть, подлежит освобождению от работы и переводу на улучшенное питание. Вайсбергер освобожден, а туда же — на завод просится. Ведь по имеющимся у него сведениям, на заводе изготавливают не только консервы из ливера и мясного фарша, но и печенье в шоколадной глазури — пальчики оближешь.

Лишь в таких случаях выясняется, какое множество людей ухитряются по утрам «слинять», то есть всякими дьявольскими уловками увильнуть от ра-

боты. Одни с вечера распарывают стеганные ватные штаны или отдирают у башмаков подошву — это даст законное право хотя бы полдня прохладиться. Другие травятся мылом. Порцию мыла — примерно граммов восемьдесят или сто — нужно постепенно обсасывать, как леденец. Если повезет — угодишь в больницу. Есть «специалисты по латринам». Латрин в лагере шесть штук, в каждой отсиживайся хоть по полчаса, но не больше, потому как полевые жандармы из румын прочесывают даже нужники. Полчасика еще куда ни шло, грех не велик, а за это время остальных угонят на работы.

Таковы привычные шаблоны. Однако встречаются незаурядные личности, дерзновенные первопроходцы, которым удавалось чуть ли не целый год прокантоваться, ни разу не участвуя в заготовке дров, не говоря уже о каких-либо постоянных рабочих обязанностях. Возле бани находится «вошебойка», каморка в подвале. С утра под нею чуть теплится огонь, и камера раскаляется лишь во второй половине дня, когда работяги возвращаются и идут мыться. Дезкамерой заправляет доктор Эрдейи, бывший адвокат. В камере можно проспать до полудня. Другой адвокат, Лацци Молнар со товарищи, готов хоть бы и запереть вас в железной западне. Рука руку моет, а уж адвокат адвоката и подавно не выдаст. Правда, один раз по ошибке немец какой-то затопил камеру, и та успела разогреться до семидесяти градусов, покуда запертые внутри не достучались, взывая о помощи... Однако овчинка стоила выделки.

\* \* \*

Ведь ежели котелок у тебя не варит как следует, или же связи-знакомства не помогают, то после завтрака тебя безжалостно выгонят к воротам, а оттуда одна дорога — вкалывать. Хотя в крайнем случае в последний момент, когда работяг уже распределили по бригадам, можно выскочить из строя и припуститься к ближнему сортиру, будто приспичило невмоготу. Ну а после этого скрыться — невеликое искусство. Акция эта называется — да простят мне

дешевый каламбур! — «выписаться из строя». Некоторым иногда удается.

К сожалению, все реже, ведь полицаи тоже совершенствуются в своем деле. Вон тот ушлый румынский сержант велел своим подручным обшарить каждый уголок. Был случай, когда одного немца откопали в мусорной куче, а в другой раз словили ловкую пташку на дереве. Если надо дрова таскать, тут уж молодчик Майер не пощадит даже доходяг. Стоит им только в обед усесться возле барака, полицаи тут как тут. Вся компания — мигом врассыпную: один хлеб в бараке забыл, другому котелок вымыть охота. «Да ты сиди, сиди, куда спешить!» — заверяют его. К врачу, вишь, пора. «Успеется! Доешь сперва». Ну а когда доел — марш, за дровами.

Дрова таскать вроде как и за работу не считается — так, развлечение. Досадно, что раза три-четыре оборачиваться приходится; ну, и самое скверное, что бревна заносить в лагерь не разрешают; тогда четыре сотни людей мигом исчезнут с глаз долой. Свалили снаружи у ворот, и айда снова в лес, по второму да третьему заходу. А у молодчика Майера душа радуется: это ж надо такие организаторские таланты иметь, какими он одарен!

Отправка на консервный завод — тоже его рук дело. Когда бригада в двадцать человек уже подбралась (на сей раз от желающих отбоя не было, и Гюнсбергер, угодивший в число счастливицов, можно сказать, в рубашке родился), Майер раскрыл секрет, что завод стоит на берегу Тавды, в ста пятидесяти километрах от лагеря. Когда недели через три в лагерь вернулась первая партия доходяг, оказалось, что из всех рассказней достоверна была только Тавда. Худой, измочаленный Гюнсбергер, теперь уже ничем не отличавшийся от остальных, а вдобавок ко всему и попавший в доходяги, расписал в подробностях райское житье на берегу Тавды.

А там, в бассейне реки, задумано было соорудить шлюз, и работягам в тридцати-тридцатипятиградусный мороз приходилось долбить кайлом промерзлую землю, выгребая щебенку и забивая сваи, чтобы потом и кровью выработать норму: ведь кубо-

метр он и есть кубометр что зимой, что летом, что в мерзлой земле, что в чавкающей грязи. На физиономии Гюнсбергера отражались неимоверная усталость и разочарование — консервный завод вышел ему боком.

\* \* \*

Следует признаться, что отлынивание от работы в 1943–45 годах было повсеместным. Двойника Вайсбергера я знал самодично, по 188-му лагерю; его звали Козма, он тоже жгутом перевязывал ноги и рассасывал мыло, как леденец. Пленный Мухараи во время переклички возопил дурным голосом и рухнул, как подкошенный: в тот день даже Господу Богу не под силу было бы вдохнуть в него искру жизни.

Кого ни спроси, в ту пору подобное настроение было всеобщим. В 165-м лагере одно время труд был обязательным и для офицеров (вплоть до капитанского чина). Одну из первых офицерских групп вывезли на торфоразработки и корчевку пней. Работа не из легких, сто четыре венгерских офицера одолели только сорок процентов предписанной нормы, то есть даже меньше половины. Через две недели пленных вернули в лагерь, где майор, начальник лагеря, заклеил их как злостных саботажников и велел остричь наголо.

Ничего забавного в данном случае нет. Справедливости ради заметим, что виновны были не только плохие работники, но и те, кто устанавливал нормы. На торфоразработках одному человеку полагалось за день выкопать канаву в тринадцать метров длиной, метр шириной и девяностосантиметровой глубины; от такой нормы заваливались даже профессиональные землекопы. Однако нормы не устанавливались раз и навсегда, а взаимопонимание помогало устранить недостатки. На самом деле в каждом из нас отсутствовало желание работать, ведь тагильский лагерь, где ловчили Гюнсбергер и ему подобные, считался одним из лучших по части организации труда. Но и отовсюду доходили слухи,



что пленные отлынивают от работы, и выражение «работа пленных» стало синонимом лодырничества, волокиты, халтуры.

У брадобрея мигом тупилась бритва, портной разноперыми заплатами превращал обычные брюки в клоунские штаны, сажаемая картошка окापывалась такой высокой горкой, что корни глохли, выкативший из гаража грузовик издавал звук, подобный пушечному выстрелу, и намертво застывал на месте... Никого это не удивляло. «Подневольная работа», — махали рукой. Работа бездарная, никудышная. Работа пленных — вовсе и не работа, а пустая трата времени. Спрашивается, почему?

\* \* \*

Под словом «работа, труд» здесь, да и вообще подразумевается одно и то же: физический труд. Умственным трудом пленным приходилось заниматься редко; гораздо чаще и почти везде — физическим. Многие впервые столкнулись с ним в плену, и это подчас оказывалось трогательным. Один штабной офицер, с которым мы на пару несколько дней перетаскивали землю (он держал носилки спереди, я — сзади), без конца рассказывал мне о военной академии. Очень достойный был человек. Вечером изрек всего лишь: «По сравнению с переноской тяжести любая другая работа — иллюзия». Он был прав.

Физический труд — следует признать в открытую — никому не был по душе из-за его беспросветности. Цивилизованный человек, будь то рабочий или крестьянин, любит не саму работу, а свое мастерство. Не тому рад, что трудится, а тому, что создает.

Работник воплощает в труде свои навыки и умение. Иначе чем объяснить привязанность профессионального горняка к своей шахте, где его удел — мрак, шаткие перекрытия да угроза оказаться погребенным под обвалом? Ну а издольщик, нещадно гнуший спину ради десятого снопа, разве не жертвует он своим здоровьем-силами во славу летних работ? Ведь не ради каждого десятого снопа,

который, может, не даст зимой помереть с голоду, — нет, он верует в землю, колосающееся зерно, в хлеб, верит, что к пшенице — или к углю — он имеет прямое касательство, чувствует, что пшеница или уголь добыты им, коль скоро связанные снопы лежат перед ним на земле или отвал угля высится у тачки.

Эту веру нес в себе и Козма, глотавший мыло в 188-м лагере, и Гюнсбергер: первый до войны был жнецом-издольщиком, второй — печатником в Будапеште. Что заставляло Козму перетягивать ноги, Гюнсбергера — заниматься махинациями, а столичного адвоката — чуть ли не заживо поджариваться в вошебойке? Отчего сто четыре офицера, воспитанных в духе безоговорочного выполнения долга, зарабатывают всего лишь сорок процентов нормы, а тысячи других венгров прячутся за бараками, под нарами и в отхожих местах? И какое будущее ждет человека, освоившего эту трудовую мораль?

\* \* \*

Начнем с начала, с противоположной стороны баррикад — с армейской жизни. Военская служба во многом учит хорошему, но иногда прививает и скверные навыки. Однако нас в данный момент интересует лишь одно: солдат, покуда он солдат, хлеб свой не зарабатывает в поте лица, а получает, точнее говоря, «фасолит» (от немецкого fassen, что означает «хватать»), берет, даже если не заслужил. Толстой в романе «Война и мир» пишет, что «таким состоянием обязательной и безупречной праздности пользуется целое сословие — сословие военное». Здесь и заложена беда.

Солдату «положено» жилье и обеспечение, и надо быть дураком, чтобы трудиться ради того, что тебе и так причитается. Покуда нет войны, солдат живет чисто формально, носит на себе казенное обмундирование, а в сердце — воинский устав. За то и другое он в ответе и, если содержит их в порядке, общество, в свою очередь, содержит его самого. Это положение вещей сохраняется и во время войны, только становится сопряженным с опасностью; в большинстве

солдат и на фронте живет дух той же безответственности, что и в мирное время, в казарме.

В плену эти воззрения лишь укрепляются. Пленному тоже причитается обеспечение, и он воспринимает это как цену свободы. То есть компенсацию за утрату оной. Любой вид труда, с его точки зрения, излишен как пустая трата сил. Пленный чурается работы, в которой отнюдь не находит радости. Ведь он лишен не только сознания пользы труда, но и возможности применения своего мастерства. В пленном угасает шахтерское самолюбие или гордость земледельца, поскольку он очень редко трудится по специальности. Не прав был тот, кто говорил о румынах, финнах или венграх, что военнопленный, мол, — заведомый лодырь. Он не лодырь, а всего лишь пленный.

Кое-кому из сапожников, парикмахеров или портных удалось попасть в лагерные мастерские. Остальные выполняют работу, какая подвернется. Многообразие ее поистине удручает. В одном-единственном лагере, за один день я насчитал пятьдесят четыре вида работ, да и те не постоянно закрепленные за исполнителем.

\* \* \*

Яноша Кочиша забрали на строительство шлюза у Тавды. Когда он вернулся оттуда, его послали на кухню колоть дрова, на другой день перебросили в прачечную, на третий он сделался водоносом... не перечислить всех занятий, какие выпали на долю Кочиша, пока весной не начались полевые работы и он не попал в «колхозную бригаду» на посевную. Но радость его длилась недолго. На третий день его, как он выразился, назначили шорником, чтобы привел в порядок конскую сбрую. Конечно, никакого усердия Кочиш не проявлял и норовил увильнуть от работы.

Так рождаются бездельники. На безответственность воинской службы накладывается безответственность плена. «Свои шестьсот грамм хлеба я и так получу» — и ощущение это лишь усиливается от бессмысленного перебрасывания с работы на ра-

боту, ее безрадостности и принудительного характера. Но и это еще не все. Ведь до сих пор дает себя знать двойная основа жизни пленного: тоска по родине и голод.

Из тоски по родине проистекает непреходящая, глубокая подавленность, усиливается чувство плена, неволи. Хорват из трудбата однажды выразился так: «Мы — точно скрипка, на которой ослабили струны». Откуда тут, при таком настроении взяться хорошей работе! А уж особенно, если по-прежнему непрестанно терзает голод, если работать невмочь, во-первых, потому что хочется есть, а во-вторых, от затраты сил еще больше проголодаешься. Додумав эту мысль до конца, пленный ночью отрывает подметку у башмака, утром сдает башмак в починку, а сам тем временем отлеживается и отсыпается в бараке.

Конечно, бывали случаи — и не раз, — когда не пленные оказывались виноваты. Самой тяжелой работой, самым страшным наказанием считались торфоразработки. Укоренившееся в нашем языке русское слово «торф» было равносильно наказанию. Торфяные участки всегда находились далеко от лагеря, в лесной глуши, вдали от дорог и от обычного контроля. Сто — двести человек, отряженные сюда на тяжелую работу, оказывались в полной зависимости от конвоиров и их совести. Не стоит удивляться, что эти люди совершали ошибки. За время войны сами они натерпелись нужды, и годы эти были годами не милосердия, но ожесточения. Бывали случаи, что охранники не выказывали любви к пленным, но здесь всегда следует учитывать, что и сами пленные не любили друг друга.

“

\*\*\*

В начале 1944-го в лагере 27/3 не было столярной мастерской. Когда понадобилось починить забор, стали искать столяра. Объявились двое, один двадцатитрехлетний русин из Прикарпатья, по фамилии Имбер. «Ты хоть что-нибудь смыслишь в этом деле?» Паренек уверял, что смыслит. Инструментов

никаких не было. Имбер смастерил верстак, вытесал рубанок, выковал стамеску. И приступил к работе.

В июле под его началом трудились уже пятнадцать человек. Они изготавливали резные портсигары, табакерки; сформировалась бригада резчиков, выискались даже краснодеревщики, которые взялись за изготовление изящной резной мебели. В начале декабря объявился некий генерал и заказал деревянные бочки для армейских нужд. Был изготовлен первый мебельный гарнитур, затем пошла «массовка»: стулья из лакированного дерева, с кожаным сиденьем. Все это по сути сводилось к обработке древесины, поскольку бревно резал циркулярной пилой подполковник Лештянски. Он добровольно взялся за эту наиболее трудоемкую часть работы, выдавая четыреста — четыреста двадцать процентов нормы, то есть в четыре раза больше, чем остальные. За что и снискал уважение.

Имбер накопил инструментов, затем приобрел станки, а в августе заключил договор с одной московской артелью. Получил в свое распоряжение ленточную пилу, автомашины, сырье, а поставлял главным образом расхожую мебель и радиорепродукторы, поскольку к тому времени сформировалась и бригада радиотехников. Снабжение становилось все лучше и лучше, сотрудничать с артелью оказалось выгодно, труд обрел смысл. В работу втягивалось все большее число людей.

Поначалу наладили производство стульев. Бригада из двадцати четырех человек за двенадцать дней изготавливала девяносто шесть полированных стульев с кожаным сиденьем. Артель выплачивала восемьдесят рублей за работу, которую один человек выполнял за два дня. Время изготовления двухметровой бочки для квашения капусты сперва составляло шестьсот рабочих часов, затем снизилось до пятисот; мастерские занимали уже два барака, когда в начале октября было объявлено трудовое соревнование в честь годовщины революции 7 ноября. Условия составляли совместно лагерное начальство, руководство и инженеры артели и военнопленные. Одним из условий было изготовление гарнитура резной мебе-

ли: книжного шкафа, буфета, круглого стола и двенадцати стульев, — который предназначался для генерала Петрова, уполномоченного по делам военнопленных.

Все было сработано — и бочки, и радиорепродукторы, и стулья, и мебельный гарнитур. Под конец мастерская работала в ударном темпе, и шестого числа двери были опечатаны. Три дня объявлены выходными. К тому времени «предприятие» насчитывало уже около ста работников, в конторе Имбера трудились секретарь, перепечатчик на машинке и два бухгалтеря. Когда срок договора истек, его не стали возобновлять, поскольку артель оказалась маленькой и не могла принять товар, а все склады были завалены. В лагере 27/3 была создана самостоятельная артель: подбирали столяров, занимались профессиональным усовершенствованием.

Самым ходовым товаром стали радиорепродукторы. Лишь магниты получали «со стороны», все остальное делалось в лагере. Ежедневную норму радиосборщиков составляла одна радиоконструкция, столяров — три полностью отделанных шкафа. Продажная цена достигала примерно двухсот рублей, себестоимость Имбер свел рублям к двадцати — двадцати пяти. К тому времени не только улучшилось питание, но рабочие даже стали получать жалованье; при лагере открылся ларек, и те, кто зарабатывал высшую ставку — сто пятьдесят рублей, — наведывались туда, как дома по утрам на рынок.

\* \* \*

До сих пор мы рисовали весьма неутешительный облик пленных — вернее, сами они вырисовывались такими. Может ли не заслуживать самой искренней жалости и участия человек, измученный тоской по родине и голодом, изнуренный тяжким трудом, истерзанный одиночеством? Его партнер на норах — собственное воображение, сотоварищ по труду — бессильный ропот, гость за столом — вечное недоедание... От невеселых дум лоб изрыт морщина-

ми, словно узорами ножа по воску, ногти растрескались, в нечесанных космах впору пауку вить паутину. Медленно, но верно из пленного уходит жизнь.

Его бы воля, он бы поразмялся хоть разок в году. Но теперь это уже не от него зависит. Он бегал от работы, покуда не сбился с ног. А работа оказалась сильнее тоски по родине, сильнее голода и всех человеческих слабостей. Только что мы проследили историю взлета и процветания столярной мастерской, теперь дадим высказаться одному из плотников.

Его зовут Андор Янчо. Крепкий, видный из себя тридцатилетний мужчина. Дома, на родине, служил писарем в сельской управе, физическим трудом сроду не занимался, хотя и подлинным интеллигентом его не назовешь: образование у него — четыре класса средней школы да коммерческое училище, на большее пороху не хватило, а посему и в армии он дослужился лишь до сержанта. В плену же, с лета 45-го года, какой работой только не занимался: разгружал вагоны, был подсобным рабочим на ткацкой фабрике, таскал уголь, вкалывал на строительстве железной дороги. «Что ни день, то новые новости», — говорит он, сокрушенно качая головой.

«Как-то раз вывели нас к руинам разбомбленной школы. Нужно было разобрать обломки: рядом возводили новый дом, и требовались стройматериалы. Было нас двадцать четыре человека. Спросили, нет ли среди нас плотников. Нет, таковых не оказалось. Подумал я, подумал и говорю: я, мол, не плотник, но отчего бы не попробовать. Еще один человек вызвался, Лайош Кери, портной из Будапешта; говорили, мастер своего дела.

Дали нам два топора и рубанок. Предстояло настилать полы, так что и досок дали, и место для работы отвели. Инструмент никуда не годный, весь в зазубринах. Ну мы инструмент кое-как выправили и взялись было за работу. А сами не знаем, как к дереву подступиться... Но не робеем, знай себе рубим, обтесываем, строгаем, чтобы, значит, доски гладкие получались. Подходит к нам русский, объясняет что-то, мы, конечно, — ни бельмеса, но

видно было, что работой нашей он доволен. Так шло целую неделю.

Потом вдруг прибегают в барак: «Где тут у вас плотник?» Я мигом подхватился, Кери позвал с собой. Перевели нас в 68-ю бригаду, на заготовку строевого леса: надо было обтесывать бревна десятиметровой длины. Русский нарядчик отвел нам участок работы, но объяснений его мы так и не уразумели. Посовещались промеж себя. «Ты, — говорю, — кумекаешь, Кери?» Он вроде бы соображает, надобно, говорит, делать так и так... Но я-то понял как раз наоборот: делать этак и вот этак. Сперва попробовали по его разумению, потом по моему, но ни так, ни эдак у нас не получилось. Опять мы с ним посовещались и стали делать по третьему способу, как нам здравый смысл подсказывал. Ну и оказалось, что мы на верном пути.

Так и заделался я признанным плотником, квалифицированным мастером, и работу мне не абы какую поручали — строительство на южном аэродроме. Мог бы хоть и бригаду возглавить, только на кой мне это! За полгода так втянулся, что, когда прислали на подмогу нескольких плотников, которые и дома этим ремеслом промышляли, никому из них за мной было не угнаться. С деревом работать — одна радость, работа чистая, здоровая, и результат сразу виден. И легкая — во всяком случае, для меня. Я никогда усталости не чувствую, даже к концу смены топор держать легче, чем в конторе перо. Ни разу руки не свело...»

\* \* \*

Последнюю перепись мы завершили летом 1946-го, и каждый вопрос ее касался работы. В ней содержатся данные двадцати военнопленных и получены из девятнадцати разных и далеко отстоящих друг от друга лагерей.

Из этой двадцатки по специальности, освоенной еще на родине, трудились девять: два слесаря, два токаря, сапожник, автомеханик, он же шофер, и два землепашца. Сюда же следует причислить и тех,



кто в плену не работал, поскольку — как явствует из опроса — дома тоже никаким трудом они не занимались. То есть оставались верны себе и своему занятию. Зато четырнадцать человек в плену выполняли такую работу, с какой на родине не сталкивались. Повороты судьбы порой выглядят весьма крутыми.

<i>На родине</i>	<i>В лагере военнопленных</i>
Художник	Токарь по металлу
Грузчик	Металлист
Студент университета	Лесоруб
Служащий	Металлург
Начальник цеха на текстильной фабрике	Землекоп
Земледелец	Шахтер в угольном забое
Старший официант	Шахтер в угольном забое
Учитель	Портовый грузчик
Скорняк	Резчик торфа
Батрак в имении	Грузчик на торфоразработках
Земледелец	Изготовитель шахтерских тачек

Мы уже говорили о том, насколько отбивало у людей охоту трудиться это перебрасывание с работы на работу, однако, судя по всему, этот недостаток изжит. Круг обязанностей, правда, по-прежнему широк, но в основном сводится теперь к постоянной, освоенной и привычной работе. Во всяком случае из числа опрошенных работали по старой или вновь освоенной специальности:

50% — дольше 5 месяцев;

28% — дольше месяца и

14% — меньше одного месяца.

Из этой статистики следует, что период бесконечных перебрасываний рабочей силы с места на место закончился.

В тот день, когда немцы сложили оружие и весть о капитуляции разнеслась по лагерю, меня перехватил дядюшка Лази Чонтош. Вид у него был весьма унылый. Я поинтересовался, что, мол, стряслось.

«Конец войне, — тоскливо отмахнулся он. — Настанут скучные времена». — «Но вас-то почему это удручает?» — «Да теперь уж ясно, что нам не победить!» — ответил он и тут был совершенно прав.

Таких закостенелых Чонтошей<sup>1</sup>, которые не теряли надежды до самого конца, было немного. И тем не менее капитуляция завершила определенный период. Развеялись, как дым, всякие безумные авантюрные планы, пришлось окончательно принаравливаться к плену — начинались «скучные времена». Пленный все больше утверждался в своем статусе, вступал в некие юридические отношения с окружающей средой и все больше становился человеком — человеком, готовящимся отбыть на родину.

Становление человеком началось с того, что пленный начал работать. Труд в какой-то мере означал свободу. Все чаще распахивались ворота лагеря, изо дня в день все больше бригад выходило на внешние объекты, а изматывающая нервы работа в зоне выпадала все реже. Лишь теперь стало очевидным, насколько отвадили людей от труда случайные занятия в лагере и увивание от них. Когда строились бараки, бани, кухни, они ведь тоже строились только для пленных, не давая ни надежды, ни перспективы. Не затем таскаешь кирпичи, чтобы завтра на пустыре стоял дом, а для того, чтобы послезавтра в нем поселились люди, чтобы любили друг друга, рождали детей — словом, жили. Сократ тоже мыслил так: «Кто поплыл бы по морю, снося тяготы и опасности?» Тот, кого манит другой берег, не правда ли?

«Другой берег» — это родина, свобода. А работа в полях, в домах, на заводах создавала некую иллюзию родины. Приближала нас к людям, которые подспудно воспринимались нами как существа высшего порядка. Ведь тот, в чьей власти находишься, всегда воспринимается как существо рангом выше. Наконец-то мы познакомились с ними; более того, работали вместе, иной раз перенимали у них что-то,

---

<sup>1</sup> Csontos — «костистый, костлявый» (венг.).

иногда сами показывали им кое-что новое. Русские — «великая загадка», заговорили.

Труд послужил искусственным дыханием, в результате которого прекратилось удушье. Стала исчезать подавленность, поскольку в 1946-м заработала почта. Поскольку отправились на родину первые эшелоны; домой уезжали больные, но уезжали домой... И поскольку вернулось уважение к труду, и сам труд стал осмысленным, созидательным, с наглядными результатами.

Итак, колесо сдвинулось — но благодаря чему? Мы видели, какие силы подталкивали и подталкивают его; однако будь этих сил хоть в десять крат больше, колесу не сдвинуться бы с места: голод сковал бы его движение мертвым грузом. Требовалось всего лишь одно: чтобы труд был вознагражден. Без этого все оказалось бы напрасным — относительная свобода, благожелательное отношение, выходные по воскресеньям... От летаргии пробудил тот факт, что бригадир по вечерам оделял каждого хлебом и похлебкой, а впоследствии стал выдавать табак, сахар и даже деньги, на которые можно было купить хлеба или молока, лука или конфет. Вечно голодный желудок наконец-то насытился: Шандор Эз, бывший метрдотель ресторана «Патрия», заделался проходчиком в одной из донбасских шахт и регулярно перевыполнял норму.

\* \* \*

Не станем утверждать, будто бы организация труда улучшилась во всех лагерях до единого. Даже результаты опроса показывают, что есть места, где труд не вознаграждается вообще или оплачивается в малой степени. Но развитие неизбежно, поскольку оно в общих интересах. К успешному труду приводит лишь хорошая его организация. Трудовой энтузиазм подскакивает мгновенно при малейшем улучшении жизненных условий. В особенности у венгров. Вести со всех краев однозначно подтверждают, что наряду с румынами у венгров самые высокие производственные показатели, венгров предпочитают

брать на любые работы, и никто не пользуется таким авторитетом, как мы.

Возможно, в моих словах сквозит некая патристическая гордость. Готов сделать скидку на это, но факты говорят сами за себя. На дорожном строительстве немцы выдавали всего лишь двадцать — тридцать процентов нормы, а венгры — сто пятьдесят — сто девяносто. Венгров-рабочих из киевского 62-го лагеря, по словам Габора Хусара, на заводы вызывают поименно, инженеры даже выучили венгерские имена, о которые язык сломаешь, а если по ошибке в бригаду вдруг затесался какой-нибудь немец, его тотчас отсылают обратно. Согласно другому свидетельству, на лесоповале мадьяры подбадривали друг друга возгласами «Давай, давай!», а лозунгом немцев был призыв: «Помедленней»...

Как рассказывает Лайош Чери, каменщик из Ипойбага, при строительстве Лисянских заводских поселков было объявлено трудовое соревнование, в котором приняли участие бригады всех национальностей, — естественно, и русские тоже. В поселке возводилось семьдесят шесть домов для рабочих, с двадцатью четырьмя квартирами каждый. В соревновании победили венгры, намного опередив всех остальных. Руководство треста выразило им благодарность и разрешило бесконвойное передвижение по городу. По воскресеньям венгры ходили в кино. «Трудненько пришлось нам, — рассказывал Чери, — потому как мы сами себя подстегивали. Сколько раз, бывало, вечером по дороге домой обсуждали, что нечего, мол, так выкладываться, мы и без того всех обогнали, не грех и притормозить. Это мы так с вечера уговариваемся. А утром, как на работу придем, только знай друг за дружкой подглядываем, у кого на сколько кирпичей стена выросла, в соседнюю комнату заходим — взглянуть, как штукатурные работы идут, и опять заводимся».

Из двадцати корреспондентов девятнадцать сообщают, что «венгры в любом деле первые», «нас очень ценят», «всю работу посложнее поручают нам» и так далее. Судя по всему, энтузиазм Андора Янчо — случай не единичный, и там, где работа

организована должным образом, труженики получают не только хлеб, сахар и деньги, но и нечто гораздо большее: самоутверждение. Мнимоумерший Лазарь восстал и снова жив, но это — малое чудо. В нем пробудилось самоуважение — это и есть подлинное чудо.

Человек, утративший родную почву, пускает корни на своем рабочем месте и благодаря труду обретает чувство самоуважения — таково краткое обобщение полученных нами данных. Но прежде чем завершить исследование темы труда, необходимо посмотреть, как воздействует труд на отдельные общественные слои. На наше счастье, в плену деление простое: на офицеров и рядовых.

В основе взаимоотношений офицерства и рядового состава лежит система гражданского и воинского воспитания в Венгрии. Соответственно этому рядовые и в плен явились с багажом, прихваченным из дома: с неизмеримым почтением к вышестоящим чинам, а зачастую и со страхом перед ними. Офицеры же были преисполнены барского превосходства и кастового духа.

Двуликая Венгрия в плену точно так же избегала взглянуть на себя прямо, как и на своей земле. Внешне в плену не произошло изменений. Офицеры содержались отдельно, часто в специальных лагерях для офицерского состава. Но в лагерях для рядовых почти всегда попадались офицеры, хотя жили они обособленно, и харч им доставался повкуснее, да и работа в большинстве случаев была для них необязательной. Масло с водой никогда не перемешивались; с чего бы этому случиться именно сейчас?

\* \* \*

Летом 1945-го из Фокшаня прибыл этап с офицерами, семьсот шестьдесят пять человек. Было среди них немало штабистов, среди нижних чинов — несколько кадровых офицеров, а остальные — запаса, прапорщики, лейтенанты. В том месте, куда они попали, находились шестнадцать тысяч пленных

девяти национальностей, офицерского и рядового состава, здоровых и больных, изысканно одетых и в лохмотьях, иудеев и христиан... Но на этих вновь прибывших никто и внимания не обращал. Вольно им было делать, что пожелают.

Они бродили не спеша, беседовали между собою, играли в шахматы, скуки ради резали трубки. Многие занялись «коммерцией». Некий Розенталь принес четыреста граммов хлеба, выменяв его на десяток папирос. Хлеб этот он пустил в оборот, но затем выяснилось, что сам Розенталь заполучил его у работяг всего за четыре папиросы. После этого многие решили совершать подобные сделки напрямую: что Розенталю удалось, то и другой сумеет. Иногда офицеры вынуждены были выходить на работы, колоть дрова и таскать их. В таких случаях многие прикидывались больными: неполадки с желудком, суставной ревматизм... поди проверь. Или ходили, прихрамывая, опираясь на палочку — у кого хватит духу заставить хромого таскать охапки дров!

Но их никто и не заставлял — не хочешь, как хочешь. Кстати, только сами офицеры и возмущались, когда подполковник Петелеи подрядился к резчику хлеба палочки выстругивать. Палочки требовались для того, чтобы пришпилить довесок к хлебной пайке, ну а подполковник соблазнился дополнительной порцией в двести граммов хлеба, полагавшейся за эту работу. Говорят, что до сих пор строгать палочки подряжались только евреи да цыгане, а тут — подполковник... Стыд и позор!

Штабные офицеры отделились от всех прочих в бараке и повесили табличку: «Отсек для штабных офицеров». Было у них и свое место отдыха, тоже с надписью: «Скамья для штабных офицеров». Действовали две комиссии — по делам чести и проверочная; прапорщик Йожеф Бона был «разжалован» по причине сомнительных политических взглядов.

Кое-кому наскучило слоняться без дела, и тогда двое немолодых учителей из Трансильвании отправились на косьбу. Как ни странно, но их не разжаловали, более того, через неделю сформировалась

бригада по плетению корзин — сплошь из офицеров... Сто пятьдесят человек вступили в бригаду по изготовлению деревянных полозьев, хотя там трудились рядовые. Бригада разрослась непомерно, впоследствии заправлять ею стал майор артиллерии, который и сам выстругивал полозья, куда бригада не распалась. Тогда он вызвался добровольцем на лесоповал.

Каста разделилась надвое. На тех, кто сложил руки посиживал на скамье для штабных офицеров, и на тех, кто взял в руки инструмент — сперва со скуки и из любопытства, но затем с инструментом больше и не расставался.

Рядовые молча, с легким удивлением поглядывали на офицеров; у кого были три папиросы, покупал у майора Эрдега миску офицерского супа. При этом не считал этого майора ниже себя, просто больше не взирал на него снизу вверх как на человека, наделенного властью. Какое-то время рядовые козыряли честью по чести, затем едва касались пальцами шапки, а потом даже это делать перестали. Закипела работа, и появились новые авторитеты: рукастые плотники заменили майоров, выносливые грузчики — подполковников, ну а тех крестьян, кто на колхозных работах показал студенту, гостиничному портье и текстильному рабочему, как держать косу, и вовсе можно приравнять к генералам. Этим тоже не отдавали честь, зато чттили, поскольку они были опытнее, сноровистее и разбирались в тонкостях дела.

Священный трепет охватывал первых бунтовщиков, которые дерзнули сесть на трехногий сапожничий табурет, выкраивать подметки, приколачивать их деревянными гвоздиками, запускать дубильную машину. Какое-то время к ним обращались как к «господину лейтенанту», а затем чин стал выплевываться как сливовая косточка, потому что лишился смысла. На ирминской угольной шахте в бригаде рядовых вкалывали забойщиками пятнадцать офицеров, и подобным примерам нет числа. В каком лагере ни спроси, обязательно скажут, что офицеры по своей воле выполняют работу — по

большей части легкую, зачастую выступая организаторами или руководителями. Работающие офицеры нередко становились бригадирами, но повышение это не имеет ничего общего с бывшей табелью о рангах, с принадлежностью к офицерской касте, с прежней системой в Венгрии. Это касается только лишь взаимоотношений с рядовыми.

\* \* \*

Итак, венгерская интеллигенция в плену распалась надвое. Одна часть расслаивается на скамейках, сражаясь в шахматы. Другие вышли на свежий воздух и теперь пропитаны солнцем и медленным брожением углекислоты. Мы уже упоминали, какое глубокое потрясение вызывает тот момент, когда здравомыслящий человек заключает союз с физическим трудом. Пусть конспективно, но мы проследили этапы эволюции группы офицеров с момента прибытия в лагерь, ее расслоение, распад и приспособление к напряженной атмосфере плена. Полноты охвата ради предоставим слово одному из этих людей, кто обрисует нам свои впечатления не как сторонний наблюдатель, а изнутри.

Тем более что и по профессии он — художник. Молодой человек двадцати четырех лет, слабого телосложения. Физическим трудом дома не занимался, участвовал в одной-единственной выставке, в связи с чем был упомянут в газетах, и даже с похвалой. Его зовут Ласло Луковски.

«Это был гигантский вагоностроительный завод, где раньше трудились тридцать три тысячи рабочих. Но из-за войны число их сократилось вдвое. Нас после того, как мы вылезли с эшелона, три недели не трогали. Сидим себе в лагере, греемся на солнышке и ждем, что будет. Я прямо-таки изнывал от любопытства — натура у меня такая; всю дорогу не отходил от окна, смотрел на дома, березовые рощи, поля пшеницы. Знал, что везут нас в Сибирь, думал, в рудники, и готов был поклясться, что мне крышка. Но все равно любопытство было сильнее страха.



С третьей недели стали выводить на работы. Я не чаял поскорей вырваться из лагеря. Попал в литейный цех. Рассказывать, что это такое, бесполезно, если ты там ни разу не был и не видел своими глазами. Высоченный — должно быть, с трехэтажный дом, внушительнее, чем Восточный вокзал в Будапеште, но ни крыши, ни конца-края не увидишь, вверху сплошной дым и пар, такой густой завесой, что солнце в верхние окна заглянет, да на полпути пропадает. Шум чудовищный, оглушительный — грохот, крики, ругань, и все же был в этом некий ритм, словно прикасаешься к собственному пульсу.

Диву даюсь, как я устоял на ногах. Подошли ко мне мастер с переводчиком, объяснили, что надо делать. Я должен был перетаскать груды длинных труб и сложить в две кучи, в зависимости от диаметра. Не сказать, чтобы длинные они были, трубы эти, и не тяжелые. Вернее, поначалу так казалось, а потом — чем дальше, тем тяжелее. Потаскал я их с часок, и с меня семь потов сошло. Пристроился было на минуту под вентилятором, откуда поступал свежий воздух, так меня чуть ветром не сдуло. Поостыл малость и, дай, думаю, закурю. Мастера нигде не видать. Побрел я на другую сторону цеха, а сам еле ноги волочу.

Тут и довелось мне наблюдать процесс литья. Видал я, как перетекает расплавленная сталь в формы, и видал, как формовочный круг поворачивает один-единственный человек, каждые десять минут подставляя пустую форму под расплавленный металл. Должно быть, неподъемной тяжести был этот круг, и человек, полуголый, тощий татарин, наваливался всем телом, чтобы сдвинуть его с места. В момент толчка он лишь пальцами ног касался пола, напряженное тело вытягивалось чуть ли не горизонтально — точь-в-точь как мост Эржебет над Дунаем. Зрелище было настолько завораживающим, что у меня аж в горле пересохло. Татарин хоть и худой был, но жилистый, и, когда он наваливался на формовочный стол, все мышцы его напрягались, от кончиков пальцев на ногах до ладоней. Все тело его дрожало от невероятных усилий, пока не удавалось

накренить стол хоть чуть-чуть... Я выпил кружку воды и вернулся к трубам. Начал работать.

До конца смены оставался какой-то час, но мне было неважно. Голова шла кругом, поясница раскалывалась, ногой — ни шагу ступить. Дотащился я до переводчика, будь что будет, говорю, а только больше сил моих нет. Мастер взглянул на меня, кивнул. Велел часок уж как-нибудь дотянуть, а на завтра посулил другую работу дать... Ночью я от усталости глаз не сомкнул. На следующий день вызвали к мастеру. Отвел он меня к вращающемуся диску и показал, что надо делать: пружины зачищать с обоих концов, чтобы убрать зазубрины. Тоже работа не из легких, но меня так и распирало от гордости: надо же, второй день на заводе, а мне доверили станок... На сей раз я выдюжил и на шестой день уже выполнял норму.

Конечно, к вечеру голова кружилась, перед глазами проносился весь огромный комбинат с семнадцатью тысячами рабочих. Но я не сдавался. На пятой неделе выдал 375% нормы и горд был собою, что выдержал, преодолел все трудности, что могу вот этими двумя руками заработать на хлеб не хуже того татарина у разливной формы. Для меня это явилось испытанием на выносливость и жизнестойкость. Под конец этот гигантский монстр-заводец сделался понятным и прирученным, как дрессированный зверь, а в свойствах расплавленной стали и остывающего литья я стал разбираться не хуже, чем в холстах и красках».

\* \* \*

Все началось с того, что оторванный от родины человек, оказался предоставлен самому себе. Сделался незащищенным, как улитка без раковины. Этот слабый, беспомощный человек столкнулся с разгневанными стихиями: с войной, морозами, пленом, с голодом и тифом. С человека сползла защитная оболочка, дотоле оберегавшая его, — законы, традиции прошлого, вера. Голод поверг его в панический страх; и что с того, что дома у него были земельные

угодья или работа с видами на приличную пенсию под старость лет, что с того, что он исправно молился Богу?

В человеке пробудились первобытные инстинкты. Он голодал. Зачастую крал, нередко прибегал к хитрости и подлости. Много раз отчаивался, на все махнув рукой, и не хотел жить дальше. Становился жертвой миражей и кошмаров. Это была нулевая точка, начинать отсчет предстояло с нее. Обстановка постепенно смягчалась, а затем труд возродил его, вновь сделал человеком. Работа стала содержанием жизни. Ее считали непосильной, кляли на чем свет стоит, ненавидели, но не бегали от нее. Теперь уже без работы нельзя было обойтись. Работа стала новой формой жизни. Она диктовала правила и законы, вознаграждала или же лишала благ, возвышала или роняла. Из труда возродился человек, а из трудового человека — общество.

Общество не прежнее, не то, что было на родине. Привычные перегородки рухнули. Основу нового общества составляет труд, связующим веществом служит самосознание — коллективное сознание высшего порядка. Эти общества складывались в замкнутых коллективах, в разбросанных по одиночке лагерях, как только стали поступать мука, гречка, рыба, жиры — цена рабочей силы.

Это явилось определяющим моментом. Пока поддержка была слабой, жизнь теплилась еле-еле. Когда подспорье стало удовлетворительным, и жизнь закипела. Развитие сделалось спонтанным, естественным, логичным и неуклонно вело к формированию коллективного сознания. В конце концов проходимцы исчезли, повсюду возобладали порядочность и добро, и люди на равных спускались в шахту или поднимались на строительные леса. У кого есть глаза, может узреть редкое чудо: демократию *in statu nascendi*, в процессе ее зарождения.

Стронувшийся с нулевой точки человек, какими бы обходными путями он ни шел, приходит только сюда. Таков путь развития. Так растет плод в чреве матери, так множатся народы на земле. Другого пути нет.

## МЕЛКИЕ КНЯЗЬКИ И КРУПНЫЕ КОММЕРСАНТЫ

«Евреев никто не любит», — говаривал дядюшка Лаци Чонтош и снова ухитрился попасть прямо в точку. Я ведь не потому так часто цитирую его высказывания, что они справедливы на все сто, а потому, что они в точности отражают общее настроение. Что евреев не любили — святая правда, только дядюшка Лаци не счел нужным упомянуть, что и его самого никто не любит, поскольку за немецкую шинель, итальянскую рубашку или венгерские башмаки он обычно платил еще меньше, чем Вайнбергер, Готтесман или Бела Кон; и по этой самой причине дядюшку Лаци не жаловал никто, даже евреи. И тут евреи были правы.

Они были правы прежде всего потому, что дядюшка Лаци норовил прожить за счет старых традиций. В лагере для рядового состава он был единственным офицером и употребил весь свой авторитет гусарского капитана, чтобы пристроиться на кухне при лазарете. А там даже мойщику посуды «обломится» то ломоть белого хлеба, то маслица, американских консервов или же компота. Понятно, что любой нормальный человек — и дядюшка Лаци тоже — рвется на кухню. Это вполне простительно. Но если ради достижения заветной цели ссылаются на «былой» ранг и авторитет, это уже не простительно. Ведь плен означает новую жизнь, новое общество, а гражданам нового общества плевать на привилегии бывших князьков.

Вместе с группой офицеров в 165-й лагерь попал сын премьер-министра, Миклош Каллаи-младший. Здесь находилось более тысячи пленных венгров, однако никто и не думал расстилаться перед юным прапорщиком. Лишь небольшой круг офицеров — человек тридцать, в основном штабистов — заискивал перед ним в надежде, что на родине, мол, зачтется. Они назначили Каллаи «интендантом». Должность эта — знак большого доверия, по утрам «интендант» получает на всех хлеб, сахар и масло. Молодой Каллаи интендантствовал, покуда не

попал под подозрение в краже. Весьма неприятный случай...

Но тридцать подхалимов даже после этого не разочаровались в сынке премьер-министра — чтили его по-прежнему и, наверное, расшаркивались бы перед ним и по сей день, если бы Каллаи не угодил на торфоразработки. А когда вернулся, вид у него был тот еще — худющий доходяга-дистрофик. Те, кто рассказывал эту историю, добавляли, что юный Каллаи был очень подавлен и высказался в таком духе: «Признаю, что здесь я должен надрываться больше, чем любой другой». Не знаю, как сам Каллаи понимал эту фразу, но если так же, как я, то он заслуживает большого уважения.

Словом, очевидно, что новое общество ни во что не ставит прежние ранги и завоеванные привилегии. Ну а какие привилегии чтит демократия пленных? Чье общественное верховенство признается в лагере? Каковы «свежеиспеченные» ранги и привилегии, и что означает в лагере карьера?

\* \* \*

«Исполнительный орган» русского руководства лагерем (то есть ступенькой вниз) и рупор просьб и жалоб военнопленных (то есть верхняя точка подъема по служебной лестнице) — это начальник зоны. В его ведении все дисциплинарные вопросы, главное же — распределение на работы. Начальник зоны, как правило, говорит на нескольких языках и «отovarивается отдельно», то есть самолично наведывается на кухню и в собственной посуде приносит себе еду, которая по негласному уговору больше обычной порции.

Отдельно столуется и «клуб», политработники, которые живут при клубе, готовят собрания, концерты и театральные представления. В этом сообществе представлены все нации, стало быть, в его функции входит улаживание межнациональных конфликтов, забота о трудовой нравственности и политическом развитии, а также редактирование стенгазет.

Подлинные средоточия власти — это кухня и мастерские. Те, кого в здешнем обиходе называют «лагерной аристократией», окопались в мастерских. Склады, кухни, баня и прачечная; шофер, бондарь, плотник и слесарь; сапожники, парикмахеры, портные, больничный персонал, врачи и фельдшеры, огородники и заведование лесопилкой... кто мог бы перечислить всех, через чьи руки проходят материальные блага, источник благополучия, основа питания, экипировки, гигиены и здоровья. Авторитет всех прочих базируется на моральной основе, а эти — подлинные властители.

Их связывает круговая порука. Ведь надо быть дураком, чтобы вообразить, будто бы повар лоснится от жира, портной одет с иголки, а заведующий баней чище всех остальных. В действительности же портной, естественно, — толстяк, и повар моется в бане каждый день, и банщики разодеты по последней моде. Не удивительно, что наш дядюшка Лаци Чонтош, получив наконец желанное место при больничной кухне, отписал домой: «За меня не беспокойтесь. Я работаю на кухне, а здесь это все равно, что дома быть парламентским депутатом».

Как к буксиру баржи, так и к влиятельным людям, неизбежно пристраиваются торгаши. Правда, в лагере их немного, зато у них есть почти все. Не забуду немецкого майора, который расхаживал в специально «оборудованной» шинели — широченной и длинной, с целым складом товаров, размещенных в подкладке. Глубокие карманы, мешки, крючки, вешалки, веревочки, даже котелки скрывались в недрах этой удивительной шинели. Какого только добра там не было: одеколон, масло, ягодный сироп, галстуки, штаны, обувные шнуры, витамины, сигареты, ножницы, щетки, рубашки... Сзади, привязанные к поясу, болтались шапки и пара немецких офицерских сапог, натянутых на колодки. «Лотошник» начинал свой обход с утра, заглядывал в мастерские, и стоило повару обронить: «Мне бы шелковый шарф, желателно желтого цвета», как он тотчас с готовностью расстегивал шинель: «Пожалуйста, натуральный шелк. То, что надо...»

Эти люди — истинные аристократы. Держатся подчас свысока, всегда шикарно одеты, сытые и довольные. А за пределами лагеря, в местах работы, образовался слой бригадиров. Основой их авторитета служит не ранг, а качество работы возглавляемой ими бригады, а значит, и их собственной работы. Имущественных благ у них меньше, зато моральный авторитет выше. Бригадир в лагере — наипервейший рабочий аристократ.

А вокруг — везде и всюду, в бревенчатых избах и в земляных бараках, в бункерах, на дорогах и в мастерских, на заводах или в полях, в лесах или в шахтах — тысячи, десятки тысяч людей. Обычных, рядовых заключенных, мадьяризированное общепотребительное название которых — «пленни». У пленного нет ничего: ни адреса, ни ранга, ни влиятельного поста. И ест он не на кухне, а получает свою баланду в углу барака, с сотнями таких же, как он сам.

\* \* \*

Наброшенная несколькими штрихами схема эта призвана отразить общественную структуру лагеря. Но это всего лишь мертвая конструкция, скелет, далекие от реальности. В действительности же скелет покрыт живыми тканями, мышцами, нервными волокнами. Живые организмы разрастаются, обизвествляются, возрождаются. Уходят поколения, уступая место новым, и в борьбе за жизнь меняются, формируются не только цвет кожи и черты лица, но и скелет.

Однако следует рассматривать не схему, а живое существо в целом. Организм его может быть больным или здоровым, но факт, что он находится в процессе изменения и развития. Не будем забывать, что нас интересует именно это развитие. И хотя хребет лагерей вначале не был иным, нежели сегодня, оба общества все же резко отличаются одно от другого.

Когда первые волны эшелонов с пленными докатились до лагерей, на гребне этих волн трепыхались тела полегче. Тот период был диктатурой толмачей

сомнительной репутации. Разгул их продолжался недолго. Для работ на зоне требовались плотники и слесари, лазаретам требовались врачи и фельдшеры, гаражам — шоферы. Конечно, дипломов или цеховых грамот ни у кого при себе не было, да их никто и не спрашивал. Чем и пользовались проходимцы.

Во всеобщем хаосе пронырам было раздолье. Взлеты и провалы карьеристов порой потрясали воображение. Помнится, один ефрейтор русин за каких-то четыре недели ухитрился дважды побывать шеф-поваром, раз — начальником зоны, затем — заведующим продовольственным складом и складом одежды. А потом сгинул не известно куда — то ли его перевели в другой лагерь, то ли он попросту растворился в общей массе пленных, да это и неважно. Его постигла судьба всех мошенников: ведь кроме того, что он знал русский, делать не умел ровным счетом ничегошеньки. Уход со сцены для него был неизбежен.

Рано или поздно эти ловкачи исчезали все, как один. Были, однако, карьеры, начавшиеся именно в этот период и вызвавшие бурю самим фактом своего существования. Придется рассказать здесь об этом — о роли и влиянии евреев из трудбата, поскольку этот вопрос, наряду со многими другими, не сгладился за колючей проволокой, а продолжает вибрировать в пространстве и времени.

Без сомнения, трудбатовцы в этой войне были поистине потерпевшими крушение. Те, кто попал в плен на Дону ли, под Станиславом или же в Венгрии, всегда были жалкой кучкой уцелевших из целой роты. Были роты, где всего лишь горстке людей удавалось пережить ужасы фронта, жестоких морозов и безжалостность командиров. Многие в лице Красной армии приветствовали своих спасителей, но были и такие, кто из последних сил тащился с отступающими частями; и все же большинство связывало с пленением самые радужные надежды.

В марте 1943 года в Саратов прибыл эшелон с пленными, среди которых находились двести трудбатовцев. Делегация их явилась к начальнику вокзала — все сплошь истощенные, оголодавшие,



оборванные. Начальник поинтересовался, что им нужно. Желаем, говорят, потолковать с главным раввином города. Но в Саратове нет главного раввина. Посоветавшись промеж себя, пленные спросили, где здесь живут богатые евреи. Начальник почесал в затылке. «Трудно сказать... — ответил он. — Таких поискать...» «Найдем!» — ответили делегаты.

Под конец они извлекли на свет телеграмму, в которой обращались к президенту еврейской республики Биробиджан с просьбой открыть для них санатории и вообще позаботиться о соплеменниках, коль скоро они сюда прибыли. Вручив телеграмму, делегаты отбыли в город. Я слышал, что им действительно удалось собрать немного хлеба и денег, но эти давания они получили не от евреев, а от других бедствующих горожан. Казалось бы, можно извлечь урок из этого факта.

\* \* \*

К сожалению, урок извлечен не был, что привело к осложнениям. Плен многими воспринимался как период справедливого возмещения и воздаяния за перенесенные тяготы, как время отдохновения от трудов и беззаботного благополучия. «Мы это выстрадали», — твердили евреи, и здравый рассудок подсказывал, что ценой перенесенных страданий можно бы многому научиться. Если уж не что другое, то любой венгр предположительно должен бы усвоить: пора сословного господства в Венгрии закончилась. Былые привилегии, равно как и бесправие больше не действительны: Миклош Каллаи и Мозеш Шварц угодили в плен на равных и равно обнаженными, как в свое время появились на свет. Дальнейший путь — путь коллективизма, труда и совместных, сознательно взятых на себя жертв. Всего лишь это и требовалось усвоить; однако, судя по всему, страдания учат не только добру.

Нашлись евреи, которые восприняли плен как возможность сделать карьеру и во имя благополучия меняли не только профессию, но и национальность — куда ветер подует. Мне запомнился торговец

по фамилии Рот, который в 188-м лагере заведовал продовольственным снабжением санчасти. За короткое время он четырежды менял отечество, объявлял себя то евреем, то румыном, то венгром, то чехословацким гражданином. На этом список превращений был исчерпан. Когда сформировался чешский легион, Рот мигом поджал хвост и уже никем не объявлял себя — просто больным. В конце концов он вернулся домой, в Карпатскую Украину.

Евреи скоро заметили, что русские не предоставляют им никаких преимуществ. Заметили наконец, что плен не пуховая перина, здесь необходимо бороться за существование, а им был известен лишь один способ этой борьбы: вульгарные махинации местечковых торгашей. Были лагеря, где прочие пленные стали роптать против «еврейского засилья», где венграм, румынам и немцам стало надоедать это кумовство. Сперва пленным осточертела такая ситуация, затем — русским, а под конец и самим евреям.

\* \* \*

Ведь евреи тоже не были однородной массой. Все вышесказанное нами относится лишь к той их части, кто не смог или не захотел распротиться с провинциальными хамскими манерами и обидчивостью. Преступное общество заклеямило их как евреев, и теперь они заявляли: «Мы евреи. Хотим быть хлебобороздатчиками». Вроде как похлопали по плечу палача и признали: «Ты прав». Но так поступали не все.

И сначала были евреи, а со временем число их множилось, кто объявлял себя венгром. Не только на словах, но и всем своим поведением. Они жили и трудились, как все. Они погрузились в массу и растворились в ней. Их достоинства и недостатки из еврейских превратились в общечеловеческие черты. Можно бы назвать сотни имен. Один из них — Тибор Денеш, писатель, насколько мне известно, наполовину еврей, на фронте разжалованный из лейтенантов в трудатовцы. В плену он снова нашёл на униформу

золотую звездочку и с абсолютной естественностью избрал судьбу венгерских офицеров, будь то хорошая или злая участь. Полгода я протрудился вместе с ним в 27-м лагере. Никогда и никому в голову не приходило, что Денеш — еврей.

Совершенно очевидно, что евреи находятся между собой в конфронтации. Оба фронта воюют; эта борьба — их личное дело, это единственный путь к нравственному очищению. Собственно говоря, война ведется на два фронта. Я был свидетелем тому, как лагерное начальство из евреев отказывалось покрывать соплеменников, если те работали спустя рукава или плохо хозяйствовали. Борьба эта велась в открытую и во многом пошла на пользу как евреям, так и не евреям. Но в то же время это борьба внутренняя, процесс созревания души, пока человек не определит свое место по ту или другую сторону баррикады.

Тема щекотливая, и я решаюсь привести лишь один пример, подкрепленный собственным опытом. В тамбовской больнице одним из ведущих врачей был Дёрдь Грюнвальд. Я знал его как человека умного и доброжелательного; до войны он, кажется, был химиком. В оправдание ему будь сказано, он и не выдавал себя за врача, война и плен постепенно обучили его этой профессии. В результате он превосходно делал многие операции, в том числе и ампутировал; я знавал не одного венгра, кому Грюнвальд ампутировал пораженные гангреной конечности, и все прошедшие через его руки вспоминали о нем с благодарностью. И доверяли ему больше, чем «настоящим» врачам.

Осенью 1944-го Грюнвальд из больницы попал в тамбовский лагерь, и не один, а со своими приятелями; такие же элегантные, как он, они тоже занимали в больнице ответственные должности. Постепенно каждый из них нашел себе место и в лагере: Грюнвальд — в лаборатории, остальные в лазарете. Все видели, что работают эти люди хорошо, но в поведении их все же сказывалась некая клановая обособленность. И на одном из собраний венгров разразилась буря с громом и молниями.

Вопрос был поставлен ребром: «Кто же вы, венгры или евреи?» Собственно, вопрос витал в воздухе еще в тот момент, когда раздавались одиночные выкрики: «Денщика держат», «Нас, венгров, ни во что не ставят»... Атакуемые тоже не уступали. Один из них, Эндре Мольнар, базарный торговец из провинции, в лагере заделавшийся весьма успешным портным, открыто заявил: «Это венгры нас оплевали!» За каждым их словом скрывалась боль; чего не коснись — в ответ стон, поскольку везде сплошь незажившие раны.

\* \* \*

Не знаю, затянулись ли эти раны. В последующие недели «больничные» вели себя беспокойно, без конца совещались и ссорились. Вино вызревало. И как-то под Рождество Грюнвальд выступил на собрании. Это была потрясающе горькая исповедь, полная упреков в адрес венгров и с неменьшим числом самообвинений; суть же сводилась к следующему: «Да венгр я, черт побери!» Это была бескомпромиссная позиция. Кое-кто — в том числе и Мольнар — последовали его примеру, другие сочли Грюнвальда предателем.

Не знаю, остались ли эти люди верны своему пути и останутся ли верны ему завтра, на родине. Возможно, мы наблюдали всего лишь внешние формы борьбы, не подозревая, что это в гораздо большей степени борения внутренние, трагические муки совести. Пожалуй, все-таки стоит надеяться, что они не свернут с выбранного пути, хотя дальнейший ход событий мне не известен, поскольку в середине зимы меня перевели из того лагеря. Но полученный урок я прихватил с собой.

Подобная борьба происходила и в других лагерях: повсюду, где были евреи, они сражались между собой. Если их оказывалось двое, значит, друг с другом, если сто человек, в борьбу вовлекалась вся сотня. Подытожить результат невозможно, однако по некоторым признакам можно судить, что среди «больничных» повсюду крепились последователи

Грюнвальда, а остальные, прозванные «надутыми индюками», съезживались, обратясь внутрь себя. Эти не могли сказать, чего ждут от жизни.

\* \* \*

Можно бы умолчать об этом вопросе, будь он личным делом пленных евреев. Но я не знаю, не проходят ли через этот ведьминский шабаш все те, кто в прошлом был заклеен желтой звездой. Если так, то пример и для них не безразличен. Однако знаю, что в плену еврейский вопрос был не частным, а общим делом, по поводу которого высказывались сотни тысяч и провозгласили свое суждение. Эта стихия выплескивается из шлюзов плена.

Большая часть венгров не-евреев носила в себе жгучую ненависть к евреям. Не стоит убаюкивать себя, говоря: «Венгерский крестьянин, не будь юдофобом». Не стоит так говорить, поскольку именно что был, да и не мог не быть, так как это ненавистничество внушили ему, вбили в него. Ярость безземельных или малоземельных тружеников ловким приемом с помещиков-графов обращали на евреев. Имущих или неимущих — без разницы. Можно без преувеличения сказать, что в период между мировыми войнами — помимо незабвенного патриотического всплеска сорок восьмого года — не было ни одной идеи, объединявшей венгров столь же прочно, как антисемитизм. Какая жалость, что нам не удалось прийти к единению под знаком какой-нибудь более благородной идеи!

В результате отечественной пропаганды в Советском Союзе ожидали рая не только евреи, но и не-евреи, в особенности интеллигенты. И разочарование постигло не только евреев, но и не-евреев. Оказалось, что русские меряют всех одной меркой, как в лагере, так и за его пределами. Если бы биробиджанский председатель и в самом деле определил пленных евреев в санатории, это означало бы не только их победу, но и торжество не-евреев. Ясное дело, вот они, сионские мудрецы...

Стало быть, извне никаких решающих указаний не последовало. Еврейский вопрос следовало ула-

живать между собой. Он стал сугубо внутренним делом. Конечно, трудно говорить здесь о каком бы то ни было продвижении. Настроение в общем неодинаковое. В иных лагерях совсем нет евреев, в других они составляли большинство роты о четырех национальных принадлежностях. Есть такие лагеря, где кадилом размахивают отъявленные нилашисты, а в иных местах еврейский вопрос закрыт, сошел на нет. Не существует формулы, применимой к любому случаю.

Но затрагивает этот вопрос многих. В массе своей люди осознали, что пороки, которые до сих пор были им ненавистны как «сугубо еврейские», присущи не только евреям. Треклятый торгашеский дух процветал даже при отсутствии евреев, и неприспособленные к жизни простаки оказывались ободранными как липка. В лагере в Гёдёллэ евреи были наперечет, однако местные князьки не ударили в грязь лицом. Одно время цена сигареты «Симфония» составляла восемьдесят пенгё; кому не хватало на целую сигарету, мог уплатить частично, за «разок курнуть»... Не рассказывай об этом многие, никогда не поверил бы.

Да и в тот период, когда верховодили пробивные, не только евреи работали локтями. Не одна звездная карьера авантюриста могла убедить в этом даже наиболее предубежденных. Большинство мошенников были не опасны. Соврет кто-нибудь, что он портной, так после первой же испорченной вещи его и выставят из мастерской. Не силен был в своем ремесле, занялся воровством или спекуляцией, продал новую вещь разок, другой, третий... На десятый попался. А если и дело свое знал, и честный был — отчего, спрашивается, не остался верным ремеслу портного?

\* \* \*

Продолжим тему мошенничества. Многие начинали с того, что объявляли себя коммунистами. Те, кто рассчитывал таким способом втереться в доверие, проигрывал, поскольку подобные заявления

проверялись. Но попадались аферисты, действовавшие с необычайной ловкостью и умело пользовавшиеся знанием людской психологии. Некоторым удавалось добиться немалых успехов. Известна карьера Миклоша Ковача. В Михайловском лагере он вел политико-просветительскую работу и долгие месяцы был властителем тысячи трехсот венгерских пленников. Даже начальство он сумел обвести вокруг пальца. С работой своей справлялся плохо: офицеров однажды обозвал «фашистами», в другой раз «свиньями». Те офицеры, кто в Михайловском лагере брал уроки демократии у Миклоша Ковача, наверняка утратили вкус к ней. Между тем в Михайловском лагере содержалось семьсот офицеров, так что ставка была серьезной.

Разумеется, и Ковач объявил себя коммунистом, на родине, мол, занимался подпольной работой среди молодых пролетариев. В подтверждение своих слов приводил имена. Сочинитель он был первоклассный, рассказов о его жизни хватило бы на множество романов. Мать Ковача была русской, дочерью полковника. Отец в Первую мировую войну очутился в русском плену и, возвращаясь на родину, подбил полковничью дочь бежать с ним... Ну, чем не готовый роман? Продолжение романа не менее увлекательно. В Венгрии вспомнилось, что у папаша Ковача дома уже есть жена, только он забыл о ней упомянуть. Русская женщина, которая тем временем произвела на свет нашего героя, развелась с обманщиком и снова вышла замуж. Так начались долгие злоключения Ковача.

Попался мошенник, как водится, на мелочи. Както раз он обмолвился, что в 1941-м венгерская полиция схватила его как бездомного-безродного и спланировала за границу чехам, в Комаром. А чешская полиция упрятала его в тюрьму... Кто-то обратил внимание на некоторую неувязку. В 41-м, говорите? Да, в 41-м! Но ведь Комаром тогда относился к Венгрии... Ковач пустился в объяснения, но было поздно: никто уже не верил ни единому его слову. Выяснилось, что и коммунистом он не был. Вылез-

ла вся его подноготная, к тому же оказалось, что и с работой своей он не справляется... Говорят, чтобы струнулась лавина, иной раз достаточно свистнуть.

\* \* \*

Все эти факты способствовали уяснению картины. Жгучий антисемитизм постепенно остывал. В лагерях появились пленные, которые были очевидцами депортации, и их свидетельства вызвали всеобщее возмущение и чувство брезгливости. Страсти несколько поутихли. Но не будем заблуждаться: огонь не погас окончательно. Если выразить общее настроение с помощью взятых там и сям проб, то следует признать, что антисемитизм не прекратился. Он всего лишь сменил одежду, переоблачившись в старомодное платье времен Франца Иосифа, какое на рубеже веков носили наши отцы.

Это антисемитизм равнодушный, даже благодушный. В один из опросных листов вкрался такой вопрос: «На родине три четверти евреев изъявили желание уехать из Венгрии. Как вы к этому относитесь?» Вопрос не самый удачный, поскольку на него заведомо не мог быть получен ясный ответ. Двадцать опрошенных высказались однозначно: «Ну и пусть уезжают!» Пятеро, правда, добавили, жаль, мол, но удерживать незачем; четверо присовокупили, что без них, дескать, лучше будет. «Скатертью дорожка», — сказали эти четверо, и что интересно, двое из них были евреи. Два еврея из всех опрошенных.

\* \* \*

Пожалуй, не такая уж большая беда, что картину общественного развития лагерей мы попытались нарисовать с точки зрения еврейского вопроса. Но картина эта неполная: отсутствуют оттенки и краски, поверхностные явления. Прежде всего то общественное явление, которое характеризует плен не меньше, чем тоска по родине: торгашество.

Венгры, которые — абстрагируясь от лошадиных барышников, цыган и армян — считались породой



нежизнестойкой, в плену по части торговой сметки переплюнули всех итальянцев, швабов и евреев. Однажды, когда старина Лайош Чехаш предлагал на продажу курильщикам свежий (и непрочитанный!) номер газеты «Игаз Со» («Глас истины»), я даже спросил у него: «И не совестно вам, дядюшка Лайош?..» Он пожал плечами и улыбнулся: «Ум для того и даден мадьяру, чтобы им пользоваться!»

Умом и вправду мадьяры были не обижены, во всяком случае, применительно к коммерции. «У вас с чего начиналось?» — поинтересовался я у одного музыканта, которого перевели к нам из Киевского лагеря. По его прикидке, у них торговый оборот развернулся примерно весной 1944 года. Первую сделку предложил некий горный пастух-румын, который на утренней переключке поинтересовался у стоявшего рядом венгерского крестьянина, доводилось ли тому пробовать шпинат. «Как же, как же, доводилось...» — «А сейчас нет ли желания отведать?» — «Желание-то есть, да вот шпината нет!» — «Можно ведь купить...» — надоумил его румын. «Купить? Это что-то новенькое! Но за сколько? И чем расплачиваться?»

«Хлебом, естественно. За половину дневной пайки — полный котелок шпината...» — «Сырой шпинат...» — засомневался мадьяр. «Какое там сырой! В готовом виде, с подливкой и с маслом. Сплошные витамины...» Слово «витамины» подействовало, и обмен состоялся. Простак мадьяр до вечера поедал зеленую тюрю и диву давался, что бы это могло быть такое. Вареное — точно, а на шпинат совсем не похоже. К вечеру он сообразил, что его накормили вареной травой. До конфликта дело не дошло, но на другой день уже двое предлагали на продажу отварной шпинат в холодном виде, с подливкой и маслом.

\* \* \*

Лагерь пересекала широкая дорога. По вечерам, после работы, когда бригады возвращались на зону, здесь кишел народ и шла бойкая торговля. Покупатели и продавцы объяснялись на четырех языках, и

с течением времени ассортимент расширялся. Можно было купить отруби, яблоки, черную патоку, хлеб и те поскребки, что извлекались из пекарских форм. «Помидор, помидор!» — выкрикивал торговец-румын; резчик трубок хриплым голосом предлагал свой товар: «Кто желает трубку с чертовой головой, складной мундштук, стеклянное сердечко, румынское и венгерское?» На стеклянном сердечке красовался венгерский или же румынский флаг, значок можно было пришить к шапке, чтобы тебя не сочли за немца. За этим делом тут строго следили.

Крестьяне с Большой Венгерской низменности, которые у себя на родине и в сельскую лавку-то входили, сняв шляпу, здесь своей изобретательностью способны были посрамить даже столичных старьевщиков. Очень большим спросом пользовались штаны. Присмотрев подходящую жертву, соблазнитель совал ей под нос жареный пирожок. «Снимай с себя свою рванину, приятель. Взамен получишь добротные немецкие штаны и пять пирожков...»

Каких только диковинных вещей не пускали в продажу, в особенности со временем, когда пленным за работу стали платить: фотопленку и граммофонные пластинки, напильник, стамеску, платяные вешалки. Однажды кто-то выставил на продажу канарейку, другой предлагал купить электромоторчик мощностью в половину лошадиной силы. Стоит его только включить в розетку, и он мигом начнет работать, клялся продавец. «На какое напряжение?» — «Да на любое!» — «А что я с ним буду делать?» — «Перепродашь!» — гласил ответ. Оно и понятно: ведь ни граммофонным пластинкам, ни электромотору, ни канарейке нельзя было найти применения.

Заклучались и сделки в долг. Завтра пойду на работы и за зоной загоню башмаки или медную дверную ручку, а уже сейчас желательно получить на эти деньги махорки... Сделка рискованная, поэтому стороны особо уславливаются, кто понесет убытки в случае, если охранник у ворот конфискует товар. Но такое случалось редко — где уж там обыскать три тысячи человек! Бывало, проносили

под одеждой чуть ли не двадцать кило хлеба, а один ловкач протасил в лагерь тридцать килограммов масляной краски. Краску скупил кухня в обмен на кашу. Фундамент кухонного домика засверкал свежей покраской, а удачливый коммерсант пятьдесят дней кряду получал двойную порцию каши. Такой крупной сделке радовались все, это вам не какая-нибудь мелочевка!

\* \* \*

Откуда берется товар, докопаться нелегко. Много приносят с воли, но немало поступает и из карантина, то есть изолированной части лагеря, где новички должны отбыть карантинный срок в двадцать один день. Входить туда запрещается, но все же можно проникнуть и пустить слух, что на завтра, мол, намечается повальный обыск — по-лагерному «шмон» — и тогда все заначки отберут. Новенькие задешево отдают припрятанные вещи: рубаху, сапоги, увеличительное стекло, женские трусы, даже шелковые чулки и бюстгальтер. Никто ни разу не поинтересовался: «Откуда это у тебя?» Достаточно того, что вещь есть, имеется в наличии и годна к продаже.

Напоследок мы оставили вопрос, из чего складывается начальный капитал. Доходчивее всех сформулировал объяснение один крестьянин из комитета Шомодь: «Два дня хлеба в рот не брал. Хочешь накопить отправную сумму — изволь проявить силу воли. За две хлебные пайки уже можно разжиться стаканом табака или махорки... Курево я распродал в лагере по щепотке — запас хлеба удвоился, махорки тоже. Нужно выдержать: не есть и не курить, пока не сколотишь начальный капитал — три стакана. А тогда уж можно заняться перепродажей...» — то есть наращивать прибыль. Отсюда всего лишь один шаг до Пала Лазо, который отказывал себе в еде, зато скопил девятнадцать тысяч рублей. На шее у него висит мешочек с золотом — четверть кило, не меньше. Это золото Лазо намерен вывезти домой из плена.

Так протекала жизнь в лагере для рядовых. Но в Усмани, где содержались только офицеры — две тысячи триста венгерских офицеров, — там можно было раздобыть все на свете: золотую медаль в честь коронации Георга V, кольца, жемчуг, золотой лом. Десяти- и двадцатидолларовые банкноты были в массовом обращении, а на рубли считали десятками и сотнями тысяч. В кухне за килограмм смальца или сала брали сто рублей, и питание было, конечно же, никудашным: все жидкое, безвкусное, обезжиренное; советское командование выделяло продукты, а распоряжались ими сами пленные. Надо понимать, присваивали себе господа офицеры. Харч в усманском лагере был прескверный, зато офицеры обзавелись собственной золотоплавильней.

В 45-м году там орудовала форменная бандитская организация. По свидетельству прапорщика Кальмана Ауэра, заправлял всеми темными делами капитан Бела Галл — толмач, заместитель заведующего кухней и бандитский главарь в одном лице; капитаны Аюш Сепеши и Ласло Сабо были скупщиками, адвокат Бежила предоставил капитал, а капитан Эсени выполнял роль посредника.

Шайка эта обирала всех подряд. Жиры, сахар, консервы — ради этого голодный офицер готов был пожертвовать даже обручальным кольцом. Кольца отправлялись на переплавку, а слитки бандиты делили между собой. За часы или кольцо главврач больницы не выписывал больного даже после излечения. Если поторговаться, мог добавить маслица в придачу — Бела Галл и врач ведь были заодно. Доктор Ковач, кстати сказать, был профессиональным врачом, в чине полковника.

Попались жулики на бриллиантовом колье. Лагерное начальство прознало про их делишки, и «золотых ребят» взяли с поличным, конфисковали ценности, посадили за решетку. Отбыв срок наказания, Бела Галл с четырьмя своими сообщниками

бежал из Усмани куда глаза глядят. Венгры, офицеры, белая косточка... Над головой звездное небо, в душе — нравственные законы.

\* \* \*

Самые активные покупатели на рынке — конечно же, лагерные «аристократы». Эти норовят раздобыть такое, чего еще нет у других. Если повар щеголяет в тапках с желтыми мысками, на другой день все спрашивают желтоносые тапки. В красногорском лагере часовщик Фюлеп добыл зеленой краски и выкрасил рубашку. Ее купил раздатчик хлеба, а на следующий день все бригадиры как с ума посходили. «Господин Фюлеп, мне бы зеленую рубашку...» «Аристократов» распирало от желания покрасоваться. Перед кем? Не знаю.

Приличная одежда «для улицы» выглядит так: немецкие офицерские сапоги, сшитые из шинельной подкладки брюки «гольф», перешитый из венгерской шинели китель с подложенными плечами, яркая рубашка и еще более кричащий галстук... Такова мода, но у некоторых модников свои причуды. Знал я одного гусарского офицера, который с невероятными усилиями собрал по частям парадную форму прапорщика — с золотыми пуговицами, с эполетами. Усилия увенчались успехом: появившись он в такой красоте на изысканной улице Ваца в Пеште, и даже там произвел бы фурор. Встречал я и одного механика, который прямо-таки лишился рассудка, до того хотелось ему иметь штаны галифе. Он их и заимел. Когда набит желудок, тотчас возникает потребность в зеркале.

Общество характеризуется не только тем, кто как трудится, но и тем, что у кого есть. Выведать это нелегко. Пленный прячет свое имущество не хуже, чем контрабандист — свой товар. Даже близкому другу и то доверяются с опаской. Один раз мне удалось уговорить соседа перетрясти свое барахлишко и перечислить, что у него есть. Он запретил называть его имя, я и не называю. Сам он — сын мелкого землевладельца из комитата Ноград, а вот перечень его сокровищ.

«Спрашиваешь, что у меня есть? Да ничего нет, кроме этих обносков, что на мне. Шинель на овчинной подкладке, досталась мне с больничного склада. Наших, венгерских у них не было, одна-единственная, да и та в самом низу. Пришлось тащить из-под низа, вся гора на меня рухнула, зато я свое выудил. Воротник тоже овчинный, а ту часть овчины, что на животе, я выменял в лагере у Давида Израэля на табак, и за две порции супа мне ее подшили под шинель. Вот шапка. Венгерская. Досталась от Татраи, когда он в партизаны подался. На радостях даже не взял с меня ничего. Ко мне уже трое подкатывались, но с шапкой я не расстанусь нипочем. В ней хочу вернуться домой.

Ну, теперь перейдем к кителю. Его я раздобыл в Вологде, это далеко на севере. Рукавов у кителя не было. Я две недели высматривал и наконец купил другой, совсем драный. Вырвал у него рукава, и Кёнигштейн за две порции масла вшил их в мой китель. Теперь возьмем штаны. Они — финские, ношу их вот уже шестнадцать месяцев, первоклассный финский товар сказал тот, кто их продал. Кавалерийскую ластовицу я нашил сам, но она опять пообтрепалась на задку, придется чинить. Дальше... Башмаки венгерские. Раздобыл я их... да неважно, как! До этого у меня были два непарных башмака... впрочем, лучше не рассказывать.

А вот с носками занятно получилось. Сестра Полина дала в лазарете, три года назад. Верха у них вполне крепкие, зато на штопку пяток и мысков я извел три клубка ниток, и заплат на них аж целых девятнадцать штук. Как нахлынет тоска по дому, я сажусь и давай штопать да заплатки накладывать; оттого они такие пестрые. Ношу их не снимая. Есть у меня еще три пары итальянских носков, «гольфы» называются; как они ко мне попали, хоть убей, не помню. Эти я берегу, в них домой поеду.

Тут у меня в сундучке еще много всякой всячины, но в подробности вдаваться не стану, просто перечислю. Две пары штанов, немецкий френч, одна, две, три пары портянок — новехонькие, ни разу не

надеванные. Две белые рубашки и одна серая, итальянская, эту сперва купил у итальянского лейтенанта Вайнгартен, потом перепродал доктору Шомло, а уж у него я выменял ее на шахматную доску... Ну, что тут еще есть? Ах да, туфли домашние, все расшитые, стоили баснословно дорого. Их даже на выставке показывали в Вологде — это на севере, я тебе уже говорил. Два свитера, коричневый достался, можно сказать, дуриком... да не пиши ты про это!.. Еще восемь коробок и четыре мешочка с разной мелочью.

Мелочь совсем не интересная. Гвозди, две пряжки, трубка, я сам ее вырезал, когда по третьему заходу с малярией валялся, баночка крема, запах приятный, нарциссами пахнет, и двадцать семь карандашей — столько удалось раздобыть. Пуговицы, стамески, напильники — о них потом расскажу. Пять медальонов с изображением Марии. Четыре метра бечевки, сапожный вар... зря смеешься! Если хочешь, чтобы нитка прочная была, без вара не обойтись. А вот английская пуговица, самая настоящая, for gentlemen написано. Это не знаю, что за штукавина и как она сюда попала, но увесистая, не иначе как оловянная. Еще есть у меня большой ранец, немецкий. Обожди, сейчас сниму! Будешь записывать?»

Нет, говорю, не буду записывать, что там у тебя в ранце понапихано. Однако он уже вошел в раж. «Смотри, смотри, сейчас пойдет самое интересное! Начнем с того, что сбоку привешено. Котелки походные, один венгерский, другой — итальянский. Гравировка на нем больно красивая, ты только глянь...» На котелке процарапана ножиком надпись: *Agosta bella, quanto ti sospiro*<sup>1</sup>. Затем вырезаны сердечки, и ниже: *Sono stato fatto prigioniero 23-9-43. Villa Davidovca*. И крупными буквами сбоку: *Mamma, a te ritorno...*<sup>2</sup>

\* \* \*

На этом перечень обрываю, ему конца-края не видать, а мы пока что дошли только до бокового кармашка ранца. Но уже из вышеназванного читателю

---

<sup>1</sup> Красавица моя Агоста, как же я по тебе тоскую (*ит.*).

<sup>2</sup> Я был взят в плен 23-9-43. Село Давыдовка... Мама, я вернусь к тебе... (*Ит.*)

ясно, что бесчисленные сокровища моего соседа по довоенным меркам не дорого стоят. Всей этой уйме барахла красная цена — долларов пять; шесть пудов зерна за накопленное в течение трех лет имущество. Хозяин ни за что не расстанется ни с гвоздиком, ни с носовым платком, ни с единой, пусть даже ношеной вещью. Все, говорит, домой увезу. Что ж, пусть увозит.

Полноты ради следует предоставить слово неимущему, одному из простолюдинов. Габор Ковач до войны работал слесарем на Чепельском заводе. На боку у него болтается тощая сума — ни дать, ни взять дохлая кошка. «И это все, что у тебя есть?» Хозяин показывает, что там не так уж и мало: с десятков каких-то мятых тряпок, консервные банки, приспособленные под коробки; на одной из них можно прочесть надпись: Oscar Mayer's Cooked Pork. Chicago, Ill. «Американская! — хвастает Ковач. Затем достает из сумы красную целлулоидную коробочку, нечто вроде масленки. — Хочешь?»

Нет, зачем мне? Тогда он предлагает другую, жестяную коробочку — табак хранить. «Ты посмотри, какая красота! Внутри золоченая, сверкает, точно зеркало. Жаль, крышки у нее нет... — он задумывается на миг и решительно добавляет: — Дарю тебе. Бери!» Коробка мне не нужна, и я прощаюсь с Ковачем. Он несколько обижен моим пренебрежительным отношением к его вещам. Ему кажется, я считаю его бедняком. Попробуй объясни, что бедный, на мой взгляд, не он, а тот, из комитата Ноград, обладатель трех пар итальянских носков. Я и не пытаюсь объяснить — все равно он мне не поверит.

\* \* \*

Господа и простонародье, короли, офицеры и пешки... лагерное общество выстраивается перед нами подобно фигурам на шахматной доске. Так они и живут, борются и играют. Число их более или менее постоянно. В пылу сражения иной раз жертвуют ферзем или побивают пешку. Пешек, конечно, погибает больше, но ведь их и числом поболее.



В ходе общественного развития лагерей никогда не происходит революций. Идет постепенное, скрытое изменение, подобное самоочищению речных вод. Воду Дуная, в пределах Пешта вбирающую в себя городские стоки, несколькими километрами ниже уже можно пить. Она очищается сама собой, неутомимыми трудами миллионов прохладных капель. Точно так же очищаются от нечистот и лагеря для военнопленных.

Последние два года все больше расширяется фронт работ вне лагеря, появляется все больше бригад и бригадиров. Бригадир теперь уже существует не за счет «гешефта», а за счет труда, не наживается на массах, но живет вместе с ними. И в цехах, в мастерских для добросовестных работников забрезжил свет, поскольку время работает на них. Рано или поздно во главе прочих становится тот, кто делает хорошую обувь, а не удачную сделку. В этом суть процесса самоочищения жизни. Мощь времени не поддается никаким людским ухищрениям.

Те, кто под бременем нужды взялись в плену за рабочий инструмент, испытали не только многообразие работ (превратившее иных в мастера на все руки), нашли в труде не только утешение, но и полезный урок. Батраки с Алфёльда и землекопы Заттисского края усвоили, что труд — это не только мука и кровавый пот, но и власть. Постепенно, зато неудержимо накапливаемая сила. Истину эту они не вычитали из газет, не услышали на собрании и не откопали в ученых фолиантах, а почувствовали на собственной шкуре. И потому наверняка знают, что это закон жизни, а не пустой звук.

## **ЛУКАВАЯ МУДРОСТЬ ДЯДЮШКИ ЛАЦИ ЧОНТОША**

Сердце замирает, когда видишь, что нет ни малейшей щелки-лазейки ни впереди, ни позади, ни справа, ни слева и тебе не остается ничего другого, кроме как бросить оружие и сдаться. Несколько ча-

сов, а то и дней живешь с замершим сердцем, в любой момент ожидая пули под лопатку. «Русские в плен не берут», — из месяца в месяц слушали мы эти пропагандистские измышления. Понадобилось какое-то время, чтобы поверить: русские в плен берут, более того, сами мы и есть пленные. Стоило только уверовать в эту истину, как все окружающее предстало в ином свете.

Человек привыкает радоваться тому, что остался жив. Испытываешь благодарность к противнику, любую мимолетную улыбку или благожелательный жест хранишь не менее благоговейно, чем образок святого Антония в молитвеннике. Неприятель обретает в твоих глазах некую притягательную силу. Теперь уже каждому ясно, что противник не только берет врагов в плен, но и рыцарски обращается с ними. Приметы такого обращения очевидны: горячая еда, жарко натопленное жилье, лояльное отношение. Постепенно мы приучаемся воспринимать подобное рыцарство как должное, хотя — над этим мы редко задумываемся — в самих нас похожего чувства не было ни на грош, покуда мы сидели в окопах по ту сторону фронта. Нынешняя война ничего общего не имела с рыцарскими турнирами.

Факт, что каждый пленный с почтением относится к народу, в плену у которого находится: ведь он — во власти сильного. Но вместе с тем и ненавидит одолевшего — именно потому, что находится в его власти. Оба эти чувства перекачиваются волнами: то одно возобладает над другим, то одерживает верх другое. Все зависит от обстоятельств и от самих людей.

Вспомним панический ужас, охватывавший человека в момент пленения, гложущую тоску по родине и извечный, неизбывный вопрос: «Когда же домой?» Вспомним эмоциональное оупение, моральные встряски, серые, безликие, беспросветные дни, из которых складывались годы плена. Все эти факторы необходимо иметь в виду, чтобы понять, каким образом единственной надеждой — и к сожалению — единственной мечтой сотен тысяч венгров мог стать Венгерский легион.

Пожалуй, разумнее всего будет привести здесь протокол общего собрания 115-го барака, зимой 1943–44 годов, когда впервые прозвучало обещание: если венгры хотят воевать против немцев, они могут составить прошение и сформировать легион по образцу чешского.

\* \* \*

Упаковочная бумага, мятая, затертая, с расплывшимися чернилами, так что текст едва можно разобрать. «Председатель Ласло Сендрэ, секретарь Янош Адлер, присутствуют венгры...» Венгры и впрямь присутствовали — основная масса толпилась у входа в барак, прочие разместились в обоих проходах и на нарах, в верхнем и нижнем ряду. В дверях стоял стол, на котором по утрам распределяли хлеб. Сейчас на стол водрузили керосиновую коптилку, в пяти шагах отсюда тьма хоть глаз коли, и некоторые из присутствующих под покровом темноты дремлют, переговариваются, заключают торговые сделки. Время — часов девять вечера, в бараке духотища и вонь, печка безбожно дымит. Председатель открывает собрание.

«Председательствующий знакомит с обстановкой на фронте и с новостями. Затем сообщает, что немецкие пленные сформировали в Москве Национальный антигитлеровский комитет. Возглавляет комитет генерал армии фон Зейдлиц. Создан и Чехословацкий легион. Самое время организовать какое-либо венгерское воинское соединение.

*Йожеф Трефа:* Надо сформировать Венгерский легион. Причем безотлагательно.

*Капрал Сабо* говорит о том, что легион следует двинуть к венгерской границе. Чтобы не бросили куда-нибудь на север.

*Доктор Фейер:* Нельзя диктовать условия. Все равно куда, лишь бы на фронт.

*Старший лейтенант Фехер:* Спорить бесполезно, наверняка попадем на венгерский участок фронта. Представляете, какое моральное воздействие в Венгрии окажет тот факт, что на стороне Красной

армии сражаются венгерские военнопленные и под венгерским знаменем вступят на родную землю?!

*Дёрдь Санто* также одобряет создание легиона, который будет сражаться на стороне Красной армии. Надеется, что и питание тогда улучшится. В Красной армии очень хорошо кормят.

*Шандор Вильгельм*: Коллега Санто постыдился бы думать только о жратве. И вообще, в Венгерском легионе не место недисциплинированным типам, которые постоянно затевают склоки при раздаче белья.

*Санто*: Выходит, молчать, что ли, когда Вильгельм вечно норовит всучить венграм рвань да обноски! Может, он стыдится признать себя венгром?

*Вильгельм* протестует против обвинения.

*Жандармский фельдфебель Кочиш*: Насколько мне известно, красноармейцы получают каждый день сто грамм мяса.

*Дёрдь Санто* возмущен разговорами только о еде.

*Председатель*: Вернемся к теме обсуждения. Кто желает высказаться по поводу Венгерского легиона?

*Бела Кон*: Предлагаю ставить на голосование.

*Йожеф Трефа*: Надо составить прошение, и кто согласен, пусть подпишет.

*Дежэ*: Как обстоят дела в других лагерях?

*Председатель*: Нельзя же все время на других оглядываться! Каждый должен сам за себя решать, когда родина в опасности!

*Дежэ*: Я не то имел в виду. Ходят разговоры, будто бы многие офицеры не станут подписывать. Они ведь знают, что после войны в Венгрии произойдет земельный раздел. А многие офицеры владеют землей.

*Пал Сабо*: Разделят землю — и правильно сделают. Пошли эти графья куда подальше! У одного густо, у другого пусто — разве это справедливо?

*Вильгельм*: Сейчас речь не о разделе земли, а о Венгерском легионе.

*Председатель*: Но можно говорить и о разделе.

*Андраш Бот*: Дисциплина — вот чего нам не хватает. Как начальник 115-го барака заявляю: перекличка по утрам тянется по полчаса.

*Голос из толпы:* А как же иначе? Пока разыщешь табак да простыню, которые ночью спер сам Бот!

*Бот* не понимает намека.

*Тот же голос:* Жулик он и есть жулик. Что же здесь непонятного?

*Председатель:* Вернемся к повестке дня.

*Кон:* Предлагаю голосовать!

*Трефа* прознал, что офицеры уже не первую неделю обсуждают вопрос о создании легиона. Офицеры — за, а вот, например, генерал-лейтенант граф Штомм, самый старший по званию среди пленных, — против.

*Йозеф Киш:* Все равно надо вступать в легион, иначе из-за колючей проволоки вовек не выбраться.

*Старший лейтенант Фехер:* Это ведь тот самый Штомм, который во время отступления хотел зайти в дом погреться, а немцы его выгнали. Тогда-то он и отморозил ноги, так что пришлось делать ампутацию.

*Кауфман* заявляет, что у него тоже отморожены ноги.

*Председатель:* Это к делу не относится.

*Кон:* Давайте голосовать.

*Кауфман:* Очень даже относится! Пусть я и хромой, а хоть сейчас готов сражаться.

*Трефа:* Но Штомм не подписал. И генерал-майор Дешео — тоже.

*Вильгельм:* Фи!

*Лайош Фишер:* Не подписали — и ладно. Можно сформировать легион и без них. Таким генералам все равно веры нет.

*Пал Сабо:* До каких пор беднякам будут затыкать рот? Да здравствует Венгерский легион!

*Пал Варга:* Все станет по-другому, пусть только дадут нам в руки оружие!

*Председатель* выражает радость, что большинство подходит к вопросу патриотически.

*Бела Кон:* Тогда давайте проголосуем!

*Председатель* выражает недоумение, отчего *Кон* так настаивает на голосовании, если сам он чехословацкий подданный.

*Кон:* Не о том речь. Я из приграничного местечка. Оно сперва относилось к Венгрии, теперь опять

отойдет к Чехословакии, но сам я венгров очень даже уважаю.

*Председатель:* Приятно слышать. Кто еще хочет высказаться по поводу Венгерского легиона?

*Козма:* Прошу отметить, что зерно теряется понапрасну.

*Председатель:* Какое еще зерно?

*Козма:* Хлебное, какое же еще? Вот я полгода пробыл в колхозе...

*Председатель:* Причем здесь это?

*Козма:* Потому как система-то не из лучших. Урожай убирали комбайнами, и зерна просыпалось — ужас! К чему, спрашивается, этак добро разбазаривать?

*Председатель:* Просыпалось, и ладно. Здесь, слава богу, добра хватает. Кто хочет высказаться насчет легиона?

*Козма:* Я ведь тоже не против легиона. Просто к слову пришлось...

*Старший лейтенант Фехер:* Пусть клуб подпишет прошение, а там и мы все присоединимся.

*Хаммерман:* Не все, а только те, кто действительно хочет сражаться.

*Доктор Фейер:* Выходит, и Хаммерман готов подписать?

*Хаммерман:* Увидим, кто первый наложит в штаны!

*Чонтош* призывает венгров сплотиться, как русские и англичане. Сейчас главное — солидарность.

*Председатель* объявляет собрание закрытым...»

\* \* \*

После этого обитатели 115-го барака спели гимн и отправились на боковую.

На другой день было написано обращение «К советскому правительству» с просьбой о формировании Венгерского легиона — красивым почерком с завитушками и тоже на оберточной бумаге. Из пятисот десяти пленных его подписали четыреста девяносто восемь. Двенадцать человек подписать отказались: восемь под тем предлогом, что они «так и

так не венгры», один заявил, что с него, мол, хватит, он сроду больше не возьмет в руки оружие. Война ему нужна, как стекольщику, который пуще всего боится хлопнуться наземь с ящиком стекла. Против такого аргумента не попрешь. Последние двое оказались ортодоксальными назореями.

Назореев четыре дня обрабатывали всем баракком. Допытывались, к примеру, как сумеет Гитлер сподобиться благодати, но на этот вопрос они ответить не сумели. Знали только, что прикасаться к оружию — грех, и за это положена кара. После этого их попытались вразумить, что ударить немца — угодное Христу деяние. В результате один назорей подписал-таки прошение, но нести вооруженную службу наотрез отказался, разве что соглашался на кухонные работы в легионе. И настаивал включить эту оговорку в прошение, пусть, мол, и правительству будет известно... Зато другой назорей так и не сдался ни в какую.

Подобные дебаты и в аналогичном звуковом оформлении проходили во всех лагерях. У офицеров, видимо, наметился какой-то разноречивый во мнениях, поскольку обитатели 153-го лагеря адресовали к «колеблющимся» открытое письмо и, не получив ответа, в мае 1944 года в 9-м номере газеты «Игаз Со» поместили еще одно открытое письмо, «тем собратьям по оружию, которые не отозвались на предыдущее». «Нерешительность венгру не к лицу», — под этими словами подписались Иштван Янош, Андраш Холлош, Нитраи, Хусар и еще четыреста двадцать пять пленных. Судя по всему, ответной реакции так и не последовало.

13 июня появилось воззвание капитана Порнлиха, капитана Антала Секея, священника Ференца Яноши и других: «Кто не может или не желает принять решение в тот момент, когда его призывают гибнущая отчизна и истекающий кровью народ, тот недостойн называться венгром». И далее: «Вызывает удивление, что наименьшее понимание правого дела венгров выказывает именно командный состав...»

Теперь уже очевидно, что Венгерский легион, будь он сформирован, мог бы перекрыть историю. И на-

сколько нам известно, дело зашло в тупик действительно из-за позиции, занятой «командным составом»: упоминали поименно генерал-лейтенанта Штомма, майора генштаба Чато и генерал-майора Дешео.

Штомм командовал 3-м корпусом, Дешео — артиллерией. После Воронежа оба попали в окружение. Штомм был тяжело ранен, и переговоры велись, судя по всему, с генерал-майором Дешео, человеком необычайно энергичным и на редкость одаренным. Он достиг успехов и на дипломатическом поприще, не один год занимая в Москве пост военного атташе; очевидно, что в 1944-м он должен был ясно представлять себе исход войны и участь Венгрии.

Не знаю, по какой причине провалился план создания легиона. Когда я разговаривал с Дешео, он сказал, что еще в бытность свою атташе слал компетентным лицам предостережения из Москвы; видел серьезные неполадки и на Дону, и затем в плену. Но о Венгерском легионе беседовать не пожелал. «Мало того, — заявил Дешео, — что я еще при правительстве Лакатоша слал рапорт за рапортом: пора сражаться, пора переходить к активным действиям. Ну а когда власть захватил Салаши, тут уж мы все вообще остервенели». Вполне возможно. Однако в 1943-м и в 1944-м они, к сожалению, «не остервенели».

Кто за это в ответе, пусть решают сведущие люди. Быть может, ошибка заключалась в том, что Дешео и его сподвижники требовали от советского правительства гарантий. Возможно, между собой не могли договориться, выступить Венгерскому легиону на стороне Хорти или против него... Оба предположения допустимы. Но ведь в конечном счете все едино: шибануть пса о дерево или дерево завалить на собаку; Венгерский легион не был создан, и это обернулось большой бедой для пленных и для самой Венгрии.

\* \* \*

Из-за Венгерского легиона перестали ломать копья, но тем не менее эта идея долгое время подпитывала чаяния рядового состава и определяла



мировоззрение офицерства. В связи с легионом резко вставал вопрос: да или нет, хочешь бороться за прошлое или за будущее. Капитан артиллерии Порфи так сформулировал эту мысль в одном из августовских номеров «Игаз Со» за 1944 год: «В борьбе за реальную и воображаемую отчизну офицерский состав неизбежно делится надвое. На тех, кто одобряет преступное прошлое, и на тех, кто отвергает его...»

Этот раздел легко заметен глазу. В начале октября 1944-го под Брашовом были взяты в плен два десятка офицеров. В фокшанском лагере семнадцать из них попросили принять их в Венгерский легион, после чего волонтеров доставили в 299-й лагерь в Крыму. Но тут к власти пришел Салаш. В Крымском лагере уповали на легион. Там офицеры не просто записывались, а составляли каждый персональное прошение с автобиографией и подробным обоснованием просьбы. И все двадцать офицеров написали такие прошения.

В сотнях лагерей пленные до последней минуты не теряли веры в легион. С разрешения местных властей даже были сформированы несколько отрядов. Так Ласло Сендрэ укомплектовал «роту Ленкеи» из двухсот человек. Он намеревался примкнуть к отрядам Тито, чтобы с юга, со стороны Дравы, освободить Задунайский край. Уж очень хотелось, чтобы Венгрию освободили сами венгры! В 165-м лагере усилиями капитана Эрнё Киша и прапорщика Аладара Хобай был сформирован пехотный полк имени Кошута под командованием полковника Тормаши-Славича. Этих даже погрузили в вагоны, но, продвинувшись к западу на двести километров, эшелон застрял.

И точно так же застревали все полки и роты; лишь горстке партизан удалось принять участие в освобождении страны, но основная масса венгров металась, переходя от надежды к отчаянию, и пребывала в таком состоянии вплоть до капитуляции Германии. Затем все надежды на участие в борьбе испарились, и пришлось примириться с мыслью о плене. Бесспорно, это оказалось труднее всего. А ле-

гион, которому не суждено было одерживать победы на военном фронте, выиграл немало сражений в лагерях, в борьбе за души людей.

Этот поворот судьбы — даже с точки зрения общенациональной — был на вес золота. Ведь политическая глупость и невежество поколений, выросших в период между двумя мировыми войнами, не знали предела. Все, чему мы научились, вплоть до азов политики, должно стать частью духовного достояния нации. И хотя мы многое усвоили в плену, нельзя не признать, что методы и обстоятельства этого политического воспитания не всегда были удачными.

Политическое воспитание было несколько суховатым, теоретическим и для мадьярского слуха непривычным. В «Игаз Со», газете для военнопленных, печатались статьи абстрактного характера, книги — если таковые в лагере находились — тоже были посвящены отвлеченным политическим проблемам. Абстрактная теория отражала лишь квинтэссенцию демократии, не передавая ее аромата и вкуса.

Во многих лагерях доводилось слышать, что пленные в массе своей «не верят газете “Игаз Со”». Конечно, нельзя делать из этого обобщающие выводы, но были случаи, когда высмеивались слухи о разделе земли, а в некоторых лагерях не хотели верить, что в Венгрии провозглашена республика. Возможно, не верят и по сию пору, поскольку сообщалось об этом в газете «Игаз Со». Зато в лагере в Люблино все поверили, будто бы «в Будапеште царит еврейский террор, и проспект Андраши с начала и до конца сплошь вымощен головами христиан». Да и как не поверить, если рассказывал об этом машинист, а мае прибывший из Пешта... Уж кому и знать, как не ему!

Все это не так страшно, как может показаться, и демократия остается демократией, хорошая ли газета «Игаз Со» или плохая. Пленные учились умозауму не по газетам, а по опыту войны, и судят не по блеклым книжным строкам, а по результатам труда. И все возрастает число тех, кто видит в демократии благо.

Лучшие примеры — крайности. Как раз в лагере в Люблино, когда агитатор объявил собрание закрытым, пленные не стали расходиться, и один из них прочел вслух главы из книги Сталина. Нашлись такие, кто отмахнулся от книжных истин, но при этом трудятся они на металлургическом заводе и в процессе работы приучаются уважать на практике то, что не вызвало у них доверия в теории. В плену не газета, а труд определяет политические унастроения.

И это тем более важно, что у воспитательной работы есть один недостаток. Он вытекает из ситуации, из самих обстоятельств плена. Ведь стоит только начать приобщать пленного к «антифашизму», как он тотчас смекает: ага, значит, антифашистов раньше отпустят по домам. И по негласному разумению, записаться в активисты — все равно, что причислить себя к демократам, то есть выкупить железнодорожный билет до пограничной станции...

Всем ясно, что это до добра не доведет. Да оно и не доводит. Лицемерие, притворство, скрытничанье — вот они, неизбежные последствия этой политики. По словам дядюшки Лаци Чонтоша, ставшими крылатым выражением, «человек не только чувствует, но и соображает». Понимай так, что чувствуешь одно, а говоришь другое; смекалка на то и дадена, чтобы скумекать: антифашисты из этого окаянного плена «подадутся домой» раньше прочих. Так считает дядюшка Лаци.

То, что пленные не доверяют газете «Игаз Со», — это еще полбеды. Но то, что воспитанное на лжи и лицемерии поколение даже в плену не способно уловить мимолетный проблеск демократии, — это уже печально. «Приспособленчество» иной раз создает гротескные ситуации. Агитатор из лагеря под Киевом рассказывал, что, когда на собрании зачитали пастырское послание примаса Миндсенти, где он назвал раздел земли грабежом, среди присутствующих вдруг вспыхнуло возмущение. «Долой его», «Чтоб ему пусто было!» — кричали побагровевшие от ярости пленные и ночью измордовали в бараке некоего сапожника, который «после всего этого» отважился помолиться на сон грядущий.

Несчастный сапожник угодил в лазарет, а пропагандист на другой день решил потолковать с народом. «Чего это вы против Миндсенти так ополчились?» — спросил он. «Пусть заткнет свою глотку! Повесить его на высокой колокольне!» — надрывался тихий, кроткий торговец зерном. «Нельзя заткнуть глотку кому бы то ни было. Теперь у нас на родине свобода слова». — «Но не для таких же речей!» — бушевал барак. Пропагандист радовался, что народ с таким жаром осуждает реакцию, но какое-то подозрение, видимо, все же у него оставалось, потому как он задал следующий вопрос: «Ну а вас-то почему это так задевает?» Барак зашумел: «Когда же мы попадем домой, если там усилится реакция?» Полагаю, эта логика испортила настроение пропагандисту. Но не мне! Пускай это и неправильная политика, но все же, раз в кои-то веки — политика, к которой мы начинаем приобщаться.

\* \* \*

В плену политикой является труд — установили мы, и это действительно основа основ. Но как мы видели, политвоспитание — тоже дело не бесполезное; Венгерский легион победоносно сражался за венгерскую демократию, и это в конечном счете была политическая работа. Да и от учения свой прок. Основы политики рано или поздно становятся для человека плотью и кровью, и там, где слова — как мы видели — не вызывают доверия, где вместо открытости процветает притворство, там убеждает сам ход исторических событий.

«Логика реальности сильнее любой другой логики», — сказал Сталин. Тот самый, словам которого не поверили венгры в Люблино. Но перед логикой событий им пришлось отступить. Каждый день войны, каждый час германского отступления и венгерского разгрома были равносильны удару кувалдой.

О еврейском вопросе у нас уже шла речь. Допустимо предположить, что каждый пленный — еврей и не-еврей — извлек из этого урок. Но в лагере возникает не только еврейская проблема, но и герман-

ский вопрос, проблема отношения к румынам, взаимоотношений офицеров и рядовых... да мало ли их, этих проблем и вопросов! Прежде всего германский. Почти в каждом лагере содержатся немцы, причем, как правило, составляют большинство. Ну а там, где они в большинстве, естественно и их стремление пристроиться — при кухне, при бане, при мастерских, при охране порядка. Где на руководящем посту немец, там и заместитель — немец: ежели ты царь и бог, тебе никто не указ.

Господь палкой не бьет, однако же иной раз взрывает щелчком. И щелчок этот мы, конечно же, заслужили. Союзники наши, в угоду которым мы кровавым плугом вспахали свою родную землю, кто раздавил нас всмятку, расплющил в этом полном и окончательном поражении, теперь, в плену, стригут купоны с нашей незадачливой верности. Сотни и сотни раз слышатся жалобы: «Да мы вовсе и не у русских в плену, а у немцев!» К сожалению, зачастую так оно и есть. И поделом нам!

Иногда гнет с немецкой стороны проявляется лишь в том, что венграм достается хлебово пожиже, а одежка со склада — похуже. Что в плену дело нешуточное. В лагере 159/6 оркестр состоит из немцев, и на концерты венгров не пускают. Это бы еще не беда. Но поблизости от лагеря находится мастерская по обжигу извести и гипса, где отбывать работы считается наказанием. В мастерской, конечно же, работают только венгры, у печей шестидесятиградусной температуры — и это в летнюю жару! — с головы до пят сплошь покрытые едкой известковой пылью. Правда, и здесь венгры вырабатывали двести процентов нормы, однако факт, что если даже трудились они с энтузиазмом, то отнюдь не испытывали энтузиазма по отношению к начальнику зоны, который, естественно, был немцем.

В Ирмино, в лагере 144/12, содержится полторы тысячи немцев и всего лишь двести пятьдесят венгров. То есть шестая часть. Но самую изнурительную — шахтерскую — работу выполняют двести сорок венгров и только двести немцев. Лагерную аристократию также составляют немцы. Это приме-

ры крайностей, но более или менее серьезные обиды и конфликты возникают в каждом лагере, где вынуждены совместно трудиться представители этих обеих наций. Урок на редкость поучительный: рушатся не только основы прогерманского воспитания, но и гораздо более глубоко таящиеся исторические традиции. Пазмань<sup>1</sup> в свое время заметил: «Немец нам плюет за шиворот». Теперь каждый пленный получил возможность почувствовать этот плевок у себя за шиворотом.

Однако еще важнее германского вопроса формирование венгеро-румынских отношений. Не знаю, что испытывали к нам румыны, но мы, мадьяры, весьма недолгоблюдали их. Румыны с самого начала завоевали в плену уважение и — что гораздо существеннее — ключевые позиции. Усердие и непритязательность пленного — ценные качества, и венгры нередко завидовали из-за этого румынам. Впоследствии, когда почти все венгры за образцовый труд заслужили авторитет, они стали часто и ожесточенно ссориться с румынами.

Схватки были яростные и упорные, как правило, проходили без толмача — так оно сподручнее; венгры и румыны часами поносили друг друга на чем свет стоит. Справедливости ради замечу, что ссоры велись не из-за Трансильвании, а по насущным поводам: кто-то не поставил на место тачку или обронил пепел на голову другому. Иной раз доходило и до рукоприкладства, но оплеух всегда было четное количество, ни одна сторона не хотела остаться в долгу. Однако, судя по всему, и брань, и затрецины были не со зла, сор, как говорится, не выносился из избы.

Распри зачастую переходили в дружбу — то как общий протест против «немецкого засилья», то во время спевки, но чаще всего при совместной работе. Даже весть о заключении перемирия СССР с Румынией не вызвала бури, хотя венгры однозначно расценили договор как утрату Трансильвании. Конечно,

---

<sup>1</sup> *Пазмань Петер* (1570–1637) — крупнейший деятель венгерской контрреформации, писатель.

бывали иногда стычки, возникали «щекотливые» ситуации. Сгущались тучи, однако же обходилось без грома-молний. К примеру, в сапожной мастерской затягивали под гитару «Как пройдуся я меж акаций, по дороженьке широкой...» Румыны тотчас заявляют, что это, мол, румынская песня, а венгры утверждают, что венгерская. Таких общих песен немало. Но этим примером я вовсе не собираюсь доказывать, что ради приятельства да совместного пения венгры готовы были поступиться Трансильванией. Все не так просто, и об этом у нас еще пойдет речь. В данном случае я хочу лишь подчеркнуть, что проблема Трансильвании воспринималась как историческая, а пленные румыны — как конкретные люди со всеми их достоинствами и недостатками.

Если в отношении немцев нас постигло разочарование, то с румынами во многих лагерях сложилась дружба, красноречиво опровергнувшая давнюю традицию. Об этом не из газет и книг повычитали. Печатному слову, пожалуй, и не поверили бы. Но как не поверить жизни, реальности? Ведь логика реальности действительно самая убедительная.

\* \* \*

Однако недоверие в людях засело глубоко. Не верили газете «Игаз Со», не верили ораторам на собраниях. Мало того что сомневались, но сама политика, все эти господские уловки вообще не интересовали пленных. Если кто и шел на собрание, то лишь в надежде узнать что-нибудь о возвращении домой. На Урале, в лагере под Орском, зачитывали последние известия — об атомной бомбе и гражданской войне в Китае. После собрания жестяник по фамилии Шиффер вернулся в барак с вестью: через три месяца венгров отправят на родину... А пекарь по фамилии Керестеш уверял, будто бы даже после заключения мира нам сидеть здесь не один год... Откуда они это взяли, так и не выяснилось, но ночь напролет все в бараке спорили до хрипоты.

Люди не верили, сомневались, выказывали равнодушные, но глаза и уши держали открытыми. Ви-

дели, что подполковник Миклош Якаб выходит на работы под чужим именем, вместо заболевших, поскольку кадровые офицеры отстранены от работ. Слышали, что в одном из лагерей под Челябинском семеро евреев объявили голодовку, так как при переписи не соглашались исправить их национальность, указав, что они венгры. И слышали, что их брат Шелигман обозвал забастовщиков отцеубийцами. Такие вещи застревали в памяти.

Между делом выяснилось, что немецкое засилье еще не означает рабство. С немцами можно бороться. В Севастополе немец, начальник зоны, проштрафился, вздумав торговать на базаре шинелями. Правда, после него назначили немца из Судет по имени Рудольф. Этот продержался в начальниках всего неделю: завел шашни с какой-то бабенкой и был переведен в колхозную бригаду. На смену ему пришел венгр. В киевском лагере номер 414/24 венгры отвоевали себе право жить в лагере отдельно и работать под самостоятельным, венгерским же началом. На том страсти и поутихли.

Потом вестей стало доходить еще больше. Об осаде Будапешта и о взорванных мостах над Дунаем. О капитуляции Германии. О разделе земли и провозглашении республики. А в газете «Игаз Со» можно было увидеть снимок нового моста Кошута. Мы уже упоминали, что пленные в массе своей оставались равнодушными, и все это множество событий задевало их столь же слабо, как мимолетное касание крыла пролетающей птицы. Только ведь ничто не происходит понапрасну, полет птицы тоже оставляет след. Вроде бы его и не замечаешь, но затем, в какой-то момент он приходит тебе на ум.

Попробуем охватить глазом более широкое пространство: нам поможет лежащий перед нами опрошенный лист.

Один вопрос касался регента Хорти, другой — примаса Миндсенти. «Что ты о них думаешь?» — так был сформулирован вопрос; однако, прежде чем выслушать ответ, вспомним золотые слова дядюшки Лаци: «Человек не только чувствует, но и соображает». Даже при дружеских расспросах тут любой



насторожится, и ответ будет продиктован здравым смыслом, хитростью, изворотливостью. Поэтому в общем результате неизбежны поправки.

Касательно Миклоша Хорти девятнадцать из двадцати заявили, что сыты им по горло. Возможно, и двадцатый был того же мнения. Честно говоря, ответ его мне не понятен. Ечменик, бывший шахтер из Шалготарьяна, сказал следующее: «Я, со своей стороны, уже перешагнул ту ступень, когда нас, венгров, вечно считали изгоями». Лично я тоже переступил эту ступень, но тем не менее суждение мне не понятно. Подозреваю только, что вряд ли оно лестно для Хорти.

Мы обобщим девятнадцать ответов, хотя шкала, конечно, шире: от радикального «дать бы ему по башке» до классовой окраски «хватит с нас самоуправства этих господ в моноклях». Андраш Сабо, портной из Бекешчабы, ответил так: «Хватит, насмотрелись этого в досталь. Мне тридцать четыре года, за душой ни кола ни двора, зато в армию призывали четырнадцать раз».

Прапорщик Пал Касса высказался таким образом: «Хорти не достоин того, чтобы вернуться на родину». С Миндсенти расправился коротко и афористично: «Кому нужен поп, пусть его зовет. Мне он не нужен». Но на другой день прапорщик снова явился и сказал, что он передумал. Запиши, говорит, лучше так: «По Хорти веревка плачет, а Миндсенти надо засадить в кутузку...» Ответ сей явно продиктован практическими соображениями, поэтому и не стоит принимать его в расчет. Это и есть неизбежная поправка или подтверждение теории дядюшки Лаци.

Что касается Миндсенти, пятеро вообще не знали, кто это такой. Двое сказали: что он есть, что его нет — им без разницы. Ечменик рассудил, что Миндсенти навряд ли венгр. Иштван Коцка, мелкий землевладелец из Ромхана: «В “Игаз Со” писали, что Миндсенти против земельной реформы. Спрашивается: кому он служит — Иисусу Христу или земельным магнатам?» В конечном счете тринадцать человек обвинили примаса в разных гре-

хах. Сыскался среди опрошенных один, кто посулил молиться, чтобы «Господь вразумил примаса. Потому как равноправие — оно во благо людям». Остается надеяться, что Господь услышит его молитву.

Кроме того, мы поставили еще два вопроса: что нравится и что не нравится нашим соотечественникам в Советском Союзе... Интересно, что из двух десятков опрошенных двенадцати нравилось то, что здесь рухнули социальные перегородки. Одобряли отношение советских офицеров к рядовым, а также уверенность, с какой держатся рабочие на заводах, открытость и непосредственность русских. Одному крестьянину пришлось по душе шахтерская работа, а коммерсанту — оросительная система в колхозах. Ечменика пленил простор хлебных полей: «Докуда хватает глаза, всюду колосится пшеница. Сам-то я шахтер, но землю очень люблю». И лишь один из опрошенных похвалил меры, направленные на обеспечение народного благосостояния.

Андраш Шипош, портной, на вопрос ответил так: «Я был очевидцем, когда председательницу колхоза избрали в Верховный Совет. Мне тридцать четыре года, а я еще ни разу не участвовал в выборах». Одному служащему нравилась стеганая телогрейка — зимой тепло. В вышеперечисленных ответах симпатии просматриваются явно. Ну, а что же не нравится нашим землякам?

Прапорщика Кассу врасплох не застать, этот мигом «врубился». «Пиши, что мне все нравится. Здесь все хорошо, лучше некуда». Судя по всему, очень уж его тянет на родину. Мнения остальных разделились. Ласло Тараи, квалифицированный рабочий крупного промышленного предприятия, тоже заявил, что ему все нравится. «А если в чем и не идеальный порядок, оно понятно — страна развивается». Шестерым опрошенным не нравились лагеря для военнопленных.

Четверо заметили, что дома у русских в запущенном состоянии, видно, мало средств вкладывается в жилье. Двое сослались на то, что они не в

курсе насчет жизни «по ту сторону проволоки», а по мнению вышеупомянутого служащего, люди здесь дурно воспитаны и невежливы. «Мужчины в трамваях не уступают места женщинам». Я поинтересовался, ездил ли он здесь в трамвае. Нет, не ездил, но ему так кажется.

Как видим, ответы разнообразны, хотя и не касаются глубины вопроса: ведь тогда в большинстве случаев опрашиваемые высказались бы иначе. И все же их суждения подтверждают, что пленные, чье политическое воспитание происходило почти в безвоздушном пространстве, теперь дышат полной грудью. Каждый ответ показывает, что они научились смотреть непредвзятым глазом, приучаются мыслить и высказывать свое суждение. Оценки их не всегда верны, зато продуманны и серьезны.

Ярче всего это проявилось в вопросе на венгерскую тему. «Если бы от тебя зависело, — так звучал вопрос, — как бы ты провел границы Венгрии в соответствии со справедливостью и исторической ситуацией?» Вопрос был поставлен вполне конкретно — перед картой и касался в отдельности границ с Чехословакией, Румынией и Югославией. Ответы были совершенно однозначными: решающий принцип — состав народонаселения. «Где живут венгры, там и быть Венгрии!» — высказался Ечменик. Зато к Югославии ни у кого из двух десятков опрошенных не возникло ни малейших претензий, «потому как там мы в долгу».

Нельзя отмахнуться от столь значительного продвижения вперед. Ведь целые поколения воспитывались под знаком расплаты за Трианон. «Все наше — верни нам!» даже не назовешь лозунгом, настолько этот императив вошел в нашу плоть и кровь. Значит, уроки плена не прошли даром, если два десятка венгров единодушно высказались по столь наболевшему вопросу. Стоит задуматься над тем, с какой дерзостью решает судьбу послевоенной Венгрии Михай Карпати, бывший батрак с начальным образованием: «Сперва пусть наладится прожег нас дружба, а уж там и до народных выборов дело дойдет».

К северу, под Ярославлем, находился лагерь для офицеров. Было их там немного, но один, лейтенант Демеч, выделялся из всех. На верхних нарах, где было его спальное место, он соорудил себе из фанеры форменную собачью конуру — с крышей, стенками, дыркой для входа. «Мой бункер», — с гордостью говорил Демеч. Но собачья конура она и есть конура.

В этой собачьей будке он и жил. Спал девять часов ночью и восемь — днем. Из двадцати четырех — семнадцать. Иногда высовывал голову и вопрошал: «Что, уже пора обедать?» И опять забивался в свою конуру. С нервами у него не в порядке, что с психа возьмешь, говорили окружающие. Но ведь мы уже слышали, как Дёрдь Бод и ему подобные твердили: «Ненавижу я всю нашу породу!» Эта фраза сродни собачьей конуре с той только разницей, что Дёрдя Бода и компанию в нервнобольные не запишешь. Но и они были представителями венгерского среднего сословия.

А представители венгерского среднего класса в эти годы таскали с собой свое прошлое, как раскрытый ножик в кармане. Не приведи Бог кому-нибудь встать поперек дороги! «А ну, кому жизнь не дорога?» — грозно рычали мы, но связываться с нами никому не хотелось, даже в споры никто не вступал. Никем не задеваемые околачивались мы у ворот, в то время как позади нас дотла сгорел дом. Дотла сгорела страна. «Кому жизнь не дорога?» — утрашающе вращали мы глазами, а сами уже валялись на земле, опрокинутые навзничь. Напоровшись на собственный нож.

Что испытывала буржуазия Будапешта во время осады города, не знаю. Но здесь, в плену, самый тяжкий крест несла интеллигенция. Ибо рефреном, повторяемым в ту пору, звучали для нас трагические слова: «Скверно мы жили». Заблуждались. Были не правы. Надо бы по-другому. И стоило только нам тихонько заговорить между собой, как первым же узелком на словесной нити возникало: да, старина,

ошибка в том, что... Тут не о чем спорить: да, была ошибка, была! Все в точности так.

Излишне доказывать, что это признание было трагедией лишь для нас, интеллигентов. Ведь Тараи, механику с будапештской окраины, или поденщику Михаю Карпати с самого начала было ясно, что прошлый мир полон недостатков. Мы это тоже чувствовали. Но то, что прошлое наше основательно загублено, они поняли вмиг, сразу же. Для них этот миг был моментом воскрешения, для нас же только началом, первой остановкой на крестном пути.

Сколько нас было, столько было и путей — у каждого свой. Подчас судьбы складывались поразительно — ни одной книге не вместить их перипетии. Даже сотне книг не вместить. Да мы и не знали путей друг друга, каждый мыкался по-своему; что ни судьба, то ненаписанный роман. Не станем беречь раны неловкой рукою; если уж не уважаем друг в друге собрата по несчастью, то хотя бы пощадим раны. В тот период каждый интеллигент был Цезарем и Брутом в одном лице. Заколлот тирана во имя свободы, но и сам оказался заколот, поскольку был тираном.

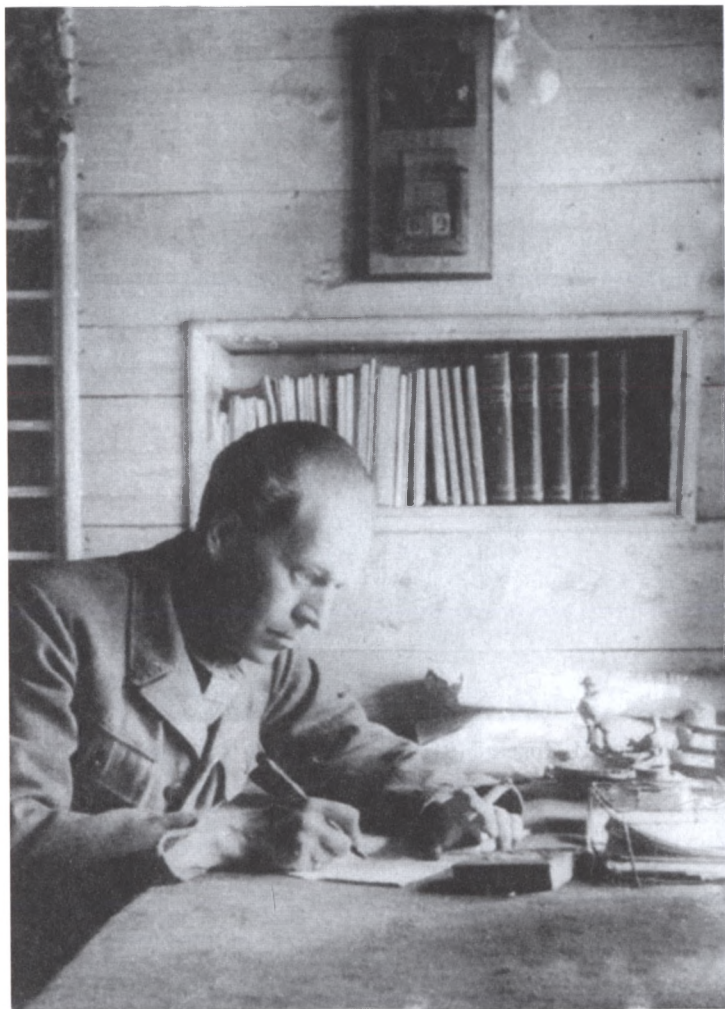
Раны — это частное дело, набросим на них покров. А вот выздоровление — это уже дело общее, национальное. Нация призывает к ответу, и необходимо ответить на вопрос *quo vadis*. Пройдя фронт, осаду, плен и голод, закаленная в борьбе за существование, терзаемая мучительными раздумьями и замороженная далеким миражом изменившейся Венгрии, куда грядет и чего достигла в плену интеллигенция?

Многие забились в конуру, многие нашли прибежище в ненависти. Ответ один и тот же, только разными словами. Обособиться от судьбы себе подобной любой ценой: соорудить из фанеры конуру, либо укрыться панцирем ненависти. Это не первый случай в истории.

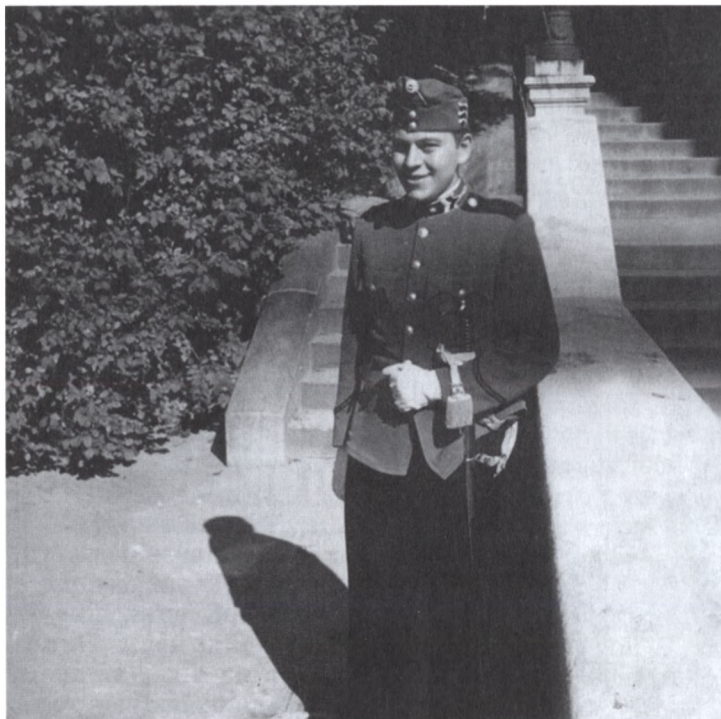
«...Стенающих во прахе призываю ко мне прийти, чтоб вместе нам постичь, как надо жить и умирать!» — гневно обрушивался на слабых духом Бержени<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Бержени Даниэль (1776–1836) — видный венгерский поэт.



Иштван Эркень в лагере № 27.  
Московская обл., г. Красногорск. 1940-е годы



Прапорщик И. Эркень. 1941 год

Обложка первого издания книги «Народ лагерей»



НКВД СССР

Главное Управление по делам о военнопленных и интернированных

Арх. № 254154

**УЧЕТНОЕ  
ДЕЛО**

На военнопленного Оркеня Иштвана

Дело закончено в связи с автоматическим списанием в 1946 г.

ОА	№
464	8
ор	2

1946 г.

Учетное дело  
И. Эркеня



Опросный лист  
И. Эркена

№ 47  
Сектор № 40

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

1	Фамилия	Эркен, Иосиф
2	Имя	Иосиф
3	Отчество	Иосиф
4	Год рождения	1912
5	Место рождения	Будапешт
6	Адрес до прибытия (наименование через наименование города провинции в армии)	74 Кларк Оуэн стр. 12, Будапешт
7	Национальность	Еврей
8	Религиозный культ	Синтоизм
9	Насильно или добровольно вступил	Насильно вступил на 14 мая 1942 г.
10	Гражданство или гражданства	Будапештский
11	Гражданство	то
12	Вероисповедание (религия)	то
13	Образование и специальности до службы в армии	в 1930 г. окончил в Будапештском ун-те (политический факультет) и в 1931 г. окончил факультет журналистики
14	Профессия и специальность до службы в армии	журналист
15	Статус работы по специальности	то
16	В какой армии служил до вступления в плен	Будапештский
17	Приведен в армию по мобилизации или добровольно вступил	Иосиф
18	Июль вступления (или поступления в армию)	1 мая 1942
19	Род войск	Пехота
20	В какой (составной) части вступил (или поступил в армию)	Архивный 1-й
21	Исторический номер	то
22	Чин или звание	фельдфебель
23	Земельная принадлежность в частях	рабочий 1-й кв.

Характеристика  
на И. Эркена

5X

Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А

на рабочего ЭРКЕНЬ Иштван Гуго. Венгр., 1912г. рождения, из г. Будапешт. Проживает там же. Сын крупного буржуа, владельца аптеки и дома в Будапеште. Окончил химический факультет Будапештского университета. Пишет на английском, французском, немецком, итальянском и /часть/ русским языками. Революционист. Присоединился к венгерской армии 25 мая 1942 года. Служил рабочим 101/2 рабочего батальона. На Советско-германском фронте находился с 5 июля 1942 года. В плен в плен 5 февраля 1943г. в районе Стрима Оскол.

С октября 1945г. работал ассистентом венгерского сектора. С работой ассистента справился хорошо. Одновременно работал членом редакционного комитета газеты для венгерских военнопленных "Квас-Со". Во время пребывания в плену написал ряд статей, которые были опубликованы в венгерских журналах, отходящих близко к коммунистической партии Венгрии и переданы по Будапештскому радио. Выразил желание вернуться в мирную жизнь.

Рекомендуется для использования на работе ордена илте агенция как писатель и пропагандист.

НАЧ. УЧЕБНОГО ОТДЕЛА  
АНТИФАШИСТСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ШКОЛЫ

4.УИ.46Р.

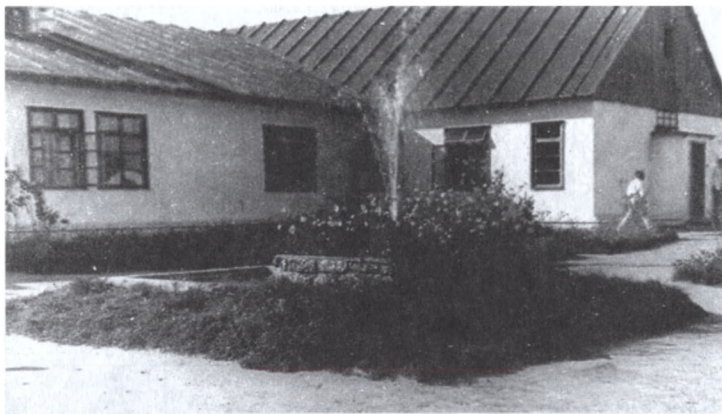
Иосиф Эркен /Парфенов/  
Иосиф Эркен /Черников/



Вид лагеря № 27.  
Московская обл., г. Красногорск. 1940-е годы  
(ММНА Нвф 1684/46)

Вид лагеря № 27.  
Московская обл., г. Красногорск. 1940-е годы  
(ММНА Оф 1359)





Зона № 1 лагеря № 27.  
Московская обл., г. Красногорск. 1940-е годы  
(ММНА Оф 1359)

Зона № 1 лагеря № 27.  
Московская обл., г. Красногорск. 1940-е годы  
(ММНА Нвф 1684/21)







В столярной мастерской лагеря № 27.  
Московская обл., г. Красногорск. 1940-е годы  
(ММНА Оф 1320/10)

Венгерские военнопленные на заготовке дров.  
СССР. 1940-е годы  
(ММНА Оф 1157/12)





Военнопленные на строительстве нового барака.  
Московская обл., г. Красногорск. 1940-е годы  
(ММНА Нвф 1684/25)

Венгерские военнопленные вырезают шахматы  
в свободное от работы время. СССР. 1940-е годы  
(ММНА Оф 1275/13)



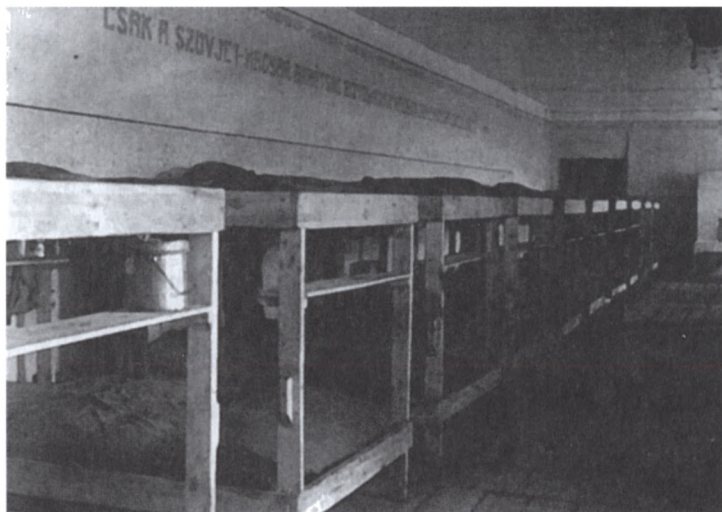


Барак № 1 лагеря военнопленных

Спальня военнопленных солдат. Лагерь № 27.  
Московская обл., г. Красногорск. 1947 год  
(ММНА Нвф 1684/56)







Нары в лагере для военнопленных

Венгерские военнопленные у стенгазеты  
(ММНА Нвф 1564/34)



Лагерная  
самодеятельность



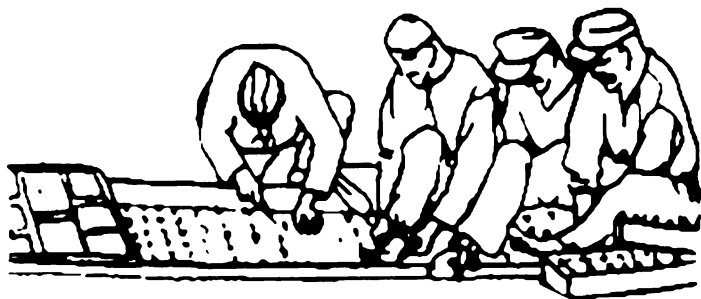
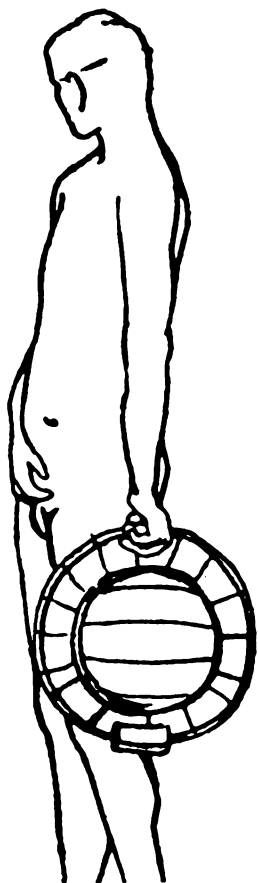
Хор венгерских военнопленных.  
СССР. 1940-е годы  
(ММНА Нвф 1564/23)

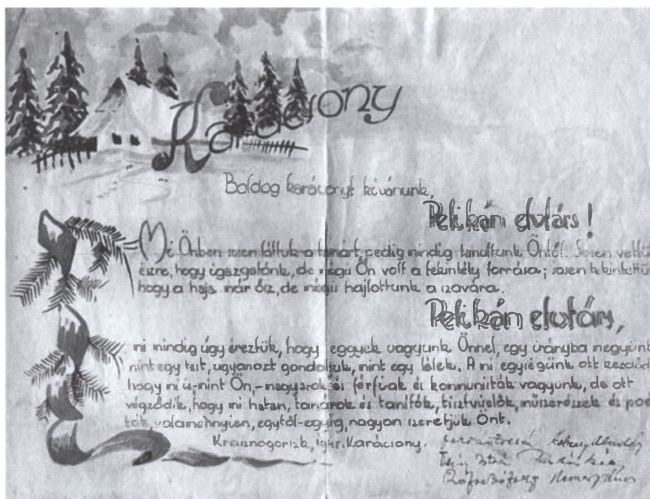




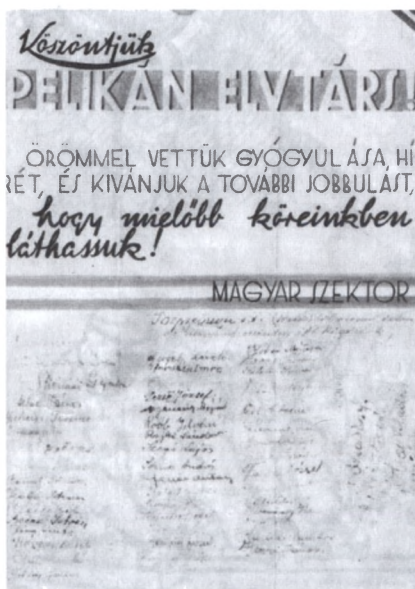


Рисунки венгерских  
военнопленных  
Йожефа Олаха,  
Пала Хорвата  
и Ласло Луковски







Поздравление с Рождеством преподавателя Антифашистской школы, заведующего венгерским сектором Гезе Пеликана от венгерских военнопленных (ММНА Оф 804)



Пожелание здоровья Гезе Пеликану от венгерских военнопленных (ММНА Оф 802/2)

Почтовая карточка  
Красного Креста  
Иштвана Эркэны  
из лагеря № 27  
от 07.09.1946 г.




  
 СОЮЗ ОБЩЕСТВ КРАСНОГО КРЕСТА И КРАСНОГО ПОЛУМЕСИЯ  
 СССР

Почтовая карточка военнопленному

Сette postale se destine au destinataire

Кому (Destinataire) Оркэны Иштван

Куда (Adresse) Budapest V., Falc Miksa u 12

Отправитель (Expéditeur) Иркэны Иштван

Фамилия и имя отправителя

Nom de l'expéditeur

Почтовый адрес отправителя

Adresse de l'expéditeur № 27/40

Prétre d'écrire sur cette postale, autrement ces lettres ne seront pas remises au destinataire.

Lecture au verso.

T.É. - 4 Aug. 1974 17.11 - 67.

Открытое письмо  
военнопленного

IX.7.

Drága Szüleim!

Örömmel kaptam Laci és kőzma Zeuzsa lapját, a előbb a tiéteket is, tegnap a Szeberd Nép meleg kritikáját - csupa jó hír. Ilyenkor örülök, hogy dolgoztam és nem logattam itt az orromat. Majd meglátjátok, hogy a "Nagy szivjóbogász" a "fogyóutatsáson" is igen jó és siker lesz. De kézirát még nyers, azt előbb Hayjal meg kell beszélni, az csak akkor lesz aktuális, ha otthon lesz, amibe még egy-két hónap egészen biztosan beletelik, és ha az utazásra csak egy hónapot számolok, akkor is örülök, ha karácsonykor otthon lesz, bár lehet, hogy akkor se. Tehát türelem, én egészséges vagyok és nagyon sokat írok, - ez az egyetlen, amit tehetek. Irjatok mindenről, Szendrőt és Mikovaszkyt sokszor ölelem a benneteket szeretettel csokoliatok

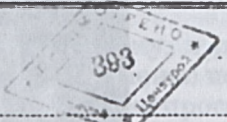
Irkény István

Kovács Annel

**ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО ВОЕННОПЛЕННОГО  
HADIFOGOLY LEVELEZŐLAP**

kétszer kérem felmagyarázni, csak  
 a jépet nek próbálva (za kovács,  
 pl. az kőzmesmet és Titán  
 mag. De nemmi fogad, az kar  
 örülök, a amig tanul kőztesek  
 magis kőztesek is, idősaimba  
 a minden gondolatjaimmal.  
 két kőztesektől - kőztesek  
 jót (U.1. és U.1. 30.) ha egyáltalán  
 se látom. Apa abírástól. Ez  
 az megkérdezéssel, az, az írtok mag  
 egyéneket magis, az  
 szívesen kőztesek?

Irkény István


  
Orkény István jónak  
Budapest V.  
Falk Miksa u. 12  
**ВЕНГРИЯ**  
 А Ленинград №27/40 Magyar Kormányzat Párti Kézbesző Helyettesi Budapest VI. Duna-parti 34.

СССР  
 Лагерь № 27/40



Венгерские военнопленные прибывают на родину

Этот котелок И. Эркенъ хранил как реликвию



Многие усвоили эту науку. Здесь самое место процитировать мужественных. У трусливых и высказаться-то пороку не хватает. Трусов еще более жестко, чем Бержени, клеймит лейтенант Тибор Денеш в стенной газете Михайловского лагеря.

«Трусливая венгерская буржуазия не смогла, да, пожалуй, и не захотела взять на себя ведущую роль и удержать ее. А теперь бессвязным лепетом пытается оправдать себя перед судом истории. Бессвязно лепечет, чувствуя, что нет ей оправдания и нет надежды на искупление. Роль эту она отвергла сама. Носила звание гражданской опоры нации, но звания этого не заслужила.

Приговор безжалостен и горек, ибо венгерскому среднему сословию суждено отправиться на свалку истории. Но пусть хотя бы до той поры продержится в нас героический дух. Уступим незаслуженно занимаемое нами место освобожденному венгерскому народу и своей доброй волей, остатками сил поможем сынам этой земли наконец-то создать в Венгрии новый мир — мир демократии».

Безапелляционный приговор, полный самообвинений. Если человек до такой степени склонен к самоуничижению, значит, ему, на мой взгляд, не достаёт мужества. Но ведь и сильным духом не легче. Прошлое преследует их во сне, гремя кошмарными цепями. Строки, которые приводятся ниже, вышли из-под пера лейтенанта Сарсои и увидели свет в стенгазете одного из лагерей в Сибири.

«Должен признать, что здесь, в плену, я изменился. Новым человеком войду в совершенно новый мир. Стоит мне об этом подумать, и во мне просыпается неутолимая жажда: жажда трудиться, жажда новой жизни, где я обрету более глубокий смысл.

Но именно эта страстная жажда приводит к столкновению. К сшибке с теми людьми, воспоминаниями, привычками, форма, цвет, отсвет которых фантомами предстает передо мною здесь, в лагере. Именно те, о ком я тоскую, восстают на меня, поскольку я о них тоскую. Здесь даже у тоски по родине горький привкус. Как же противостоять тем, кого я люблю?

Иной раз мне приходит в голову сравнение: словно стоишь на верху какой-то высокой башни и на миг испытываешь дьявольское искушение прыгнуть вниз, чувствуя при этом безграничное наслаждение; наяву такое и вообразить невозможно.

Мы много говорили на эту тему с другими братьями по судьбе. Более опытные заверили меня, что сама жизнь решит эти кажущиеся неразрешимыми проблемы. Я верю им на слово. Но к жажде возвращения на родину для меня и поныне примешивается щемящее предчувствие этой грядущей борьбы.

Что ждет нас дома?»

\* \* \*

Как видим, даже храбрецам страшно. А между тем именно они мировоззренчески продвинулись в плену дальше прочих, они чуть ли не избавились от чувства плена и уже находятся на пути к дому. Да и сам дом, семья — приблизились. Они влекут, но и отталкивают подобно куску янтаря, натертого сукном. Воспоминания наэлектризованы. Они притягивают, поскольку прекрасны, но и враждебно отстраняют, потому что не изменились, они и теперь такие же, как прежде. Повторяю: у интеллигенции самый тяжкий крест. Нас тяготит не только плен, но и возвращение на родину.

Тараи и Карпати тоже терзаются тоской по родине. Их вопрос — жгучий, мучительный: «Когда же домой?» — мы слышали уже не раз. И все же эту муку легче унять: достаточно какой-нибудь газетной заметки, подбадривающих слов, чтобы тотчас вспыхнула надежда — к Пасхе отпустят!

А вопрос, поставленный Сарсои, звучит иначе: какими мы вернемся и какой дом нас ждет? Тоска по родине раздвоилась, как змеиное жало. Сомнения преследуют одно за другим. Что изменилось там, дома? Как нас встретят? Насколько широка пропасть, которую предстоит перешагнуть, и найдется ли желающий перебросить мост? Это сомнение сложнее, оно труднее преодолимо. Первое часто не дает спать по ночам, второе заставляет человека и днем бродить как во сне.

## «КОРОЛЬ КОТОФЕЙ» В КИЕВЕ

Дюла Ийеш<sup>1</sup> в связи с Национально-освободительной борьбой 1848–49 гг. пишет, что крестьяне не знали тогда ни герба своей страны, ни цветов знамени. «Они и понятия не имели, что значит быть венгром». Столетием позже потомки тех крестьян уже различали цвета триколора и знали, что они венгры. Но вот что значит быть венгром, не представляли и они. Впрочем, не только крестьяне: другие тоже.

Этого не знали почти тысяча из тысячи. Не знали своих песен, танцев, игр. Не любили подлинных поэтов, драматургов, музыкантов, художников. И это варварское невежество захлестнуло массы не в результате татарского нашествия, а наоборот, под знаком «культурного превосходства». Собственной глупостью мы кичились, словно придворный шут — пышными шароварами и колпаком с бубенчиками.

Дома, на родине, мы тоже догадывались, чувствовали, что венгры из нас никудышные. Какой-нибудь итальянский виноградарь или сицилийский пастух больше знает об испанцах, чем мы, венгры, о самих себе. Однако собственные несуразность, невежественность, неосведомленность еще ни разу не проявлялись с такой очевидностью, как в плену.

Уже упоминалось, что в плен каждый попадает как бы обнаженным. Нет у пленного иного имущества, кроме того, что он принес с собой в мыслях, в сердце, в нравственных положениях и в памяти.

В плену каждый прибивается к берегу, будто потерпевший кораблекрушение, становится Робинзоном на необитаемом острове, сам строит себе жилище, обрабатывает землю, создает свою культуру. Побывавший в плену знает, что все обстояло именно так. Когда же в Робинзоне пробудилась душа, он

---

<sup>1</sup> *Ийеш Дюла* (1902–1983) — выдающийся поэт и прозаик, автор знаменитого социографического исследования «Народ пусты»; название книги *И. Эркеня* свидетельствует о продолжении традиций художественно-документальной литературы.



сказал Пятнице: «А теперь достань скрипку и сыграй “Тоскливое воскресенье”...»<sup>1</sup>

В одном из кавказских лагерей был создан струнный квартет. Объявили, что состоится концерт по заявкам, принимаются любые пожелания... Интересно, что эти самые пожелания приходилось вытягивать из публики чуть ли не клещами. «Играй, что хочешь, лишь бы хорошая венгерская песня была...» Наконец удалось выявить вкусы публики. Высказались даже кухонная обслуга, портной и сапожник. Вот перечень «хороших венгерских песен»:

«Я живу на хуторе далеко»,  
«Марика моя»,  
«Не смотри ты на меня дивными очами»,  
Шопен — «Экспромт»,  
Кальман — «Без женщин жить нельзя на свете, нет!»,

«Эх, моя Наташа»,  
«Ложка, вилка и тарелка деревянные»,  
«Jumbo ist ein Elefant»,  
«Журавли»,  
«Твой цветущий палисадник, он мне по сердцу пришелся»,

Прокофьев — «Победный марш».

Про марш какой-то бригадир вычитал в газете «Игаз Со», но сыграть его не удалось, поскольку автор писал его для труб и арф, но арфы в лагере не нашлось. Впрочем, труб тоже. Но остальные заявки были выполнены, хотя иной раз скрепя сердце, ведь истинно народные песни никому на ум не пришли. При исполнении трогательных «Журавлей» многие плакали от умиления.

Что и говорить, *fundus instructus*<sup>2</sup>, то бишь оснащение лагерей культурными благами было весьма скудным. А между тем, по мере того как улучшалось питание и ослабевал голод желудка, возрастала тяга к печатному слову. Но в большинстве лагерей

---

<sup>1</sup> Песня, сочиненная в 30-е годы прошлого века Режё Шерешем, скромным пианистом в баре, принесла автору мировую известность.

<sup>2</sup> Поместье с постройками и хозяйственными орудиями (*лат.*).

библиотек не было. Правда, следует учесть, что заниматься подбором литературы для военнопленных да еще на венгерском языке в годы войны было бы просто невыносимо.

И все же в некоторых библиотеках венгероязычная литература была представлена. Фонд ее комплектовался из продукции московского Издательства литературы на иностранных языках, изначально не рассчитанной на потребности пленных. Поэтому первое время в лагеря поставляли избранные произведения Ленина, основные труды Сталина и другие работы теоретического характера, которые мало чем могли помочь политически неподкованным массам.

Позднее был выпущен целый ряд изданий, многие из них политического содержания. Например:

Александров «Фашизм — злейший враг человечества»,

Сборник «Маркс и Энгельс о реакционной Пруссии»,

Енэ Варга «Фашистский “новый порядок” в Европе»,

Карпинский «Советская система государственного управления».

Из потока печатной продукции лишь последняя давала представление о советской демократии; остальные, будучи оторванными от реальной действительности, не выходили за рамки абстрактной теории. Раздел художественной литературы в библиотеках тоже был крайне убогим: несколько книг, брошюр, прокламаций на венгерском языке, выпущенных тем же издательством. Кое-какие стихи или рассказы.

Все эти книги, безусловно, писались с лучшими намерениями. Будь у авторов столько же художественных способностей, сколько добропорядочности, пленные брали бы эти книги нарасхват. Но удобный случай был упущен. Вспоенные на водопроводной воде массы возжаждали приобщиться к напиткам получше. Их угостили вином. Вино оказалось чистым, неразбавленным, но не благородных сортов. Там, где вино попадалось марочное, люди им упивались. Мне известно о трех лагерях, где на-

шелся томик Петёфи, а в одном были стихи Аттилы Йожефа<sup>1</sup>. Книги эти были зачитаны до дыр.

Библиотеки — если они были — давали много знаний, но мало пищи для души. По мере того, как возрастала тяга к искусству, приходило и понимание: мы предоставлены самим себе, и требуется проявить инициативу, как хорошим солдатам. Так зарождалось в плену некое подобие культуры, подобно многому другому, возвращенному в искусственном климате. Процесс рождения легко прослеживается.

\* \* \*

Культура в лагере зародилась в тот момент, когда двое в углу барака, в перерыв наконец-то заговорили на постороннюю тему. О чем? Не знаю. Но только уже не о том, отчего у окорока по-кошицки корочка почти черная или какое прозвище было у общего знакомого, рябого корчмаря... Речь шла о другом и, видимо, о чем-то интересном, поскольку, прислушавшись, и остальные стали подтягиваться к ним и участвовать в разговоре. Это и был тот миг, когда культура зародилась и стала крепнуть и расти.

Началось с «лекций». Сперва экспромтом, позднее — плановых. Если человек в чем-то разбирался, он заявлял: завтра, мол, вечером прочту вам лекцию о том-то и о том-то... Просветительские мероприятия происходили в основном после ужина, в крошечной тьме. Под конец иногда сам лектор противоборствовал сну, решив непременно дойти до финала. Должно быть, ему казалось, что он рассеивает тьму, высоко вздымая факел — светоч духовного.

Какие только идеи не приходили людям в голову! Помню лекцию о парусном флоте, ее читал майор Генштаба по фамилии Фейер, а тема была объявлена так: «Корветы, фрегаты, линкоры...» Довелось мне услышать профессиональный доклад о фальшивомонетчиках и подделке денег, о зимних вреди-

---

<sup>1</sup> *Йожеф Аттила* (1905–1937) — крупнейший венгерский поэт.

телях плодовых деревьев, о средневековом церковном облачении. Большинство лекторов стремилось осветить круг тем, в которых сами они не очень-то разбирались. Судя по всему, собственная профессия не кажется людям занимательной.

Словом, в темах недостатка не было. Помнится, слушал я о секретах дубления кож — целых две лекции и одну о наводнениях в Китае. Обстоятельное исследование о двойной бухгалтерии представил на суд общественности лагерный протестантский пастор. Слушателей также собиралось немало, в основном приходили из-за того, что «в это время по крайней мере не думаешь о жратве». Высказывание относится к той поре, когда все мысли были прикованы к еде. Возможно, собравшиеся в эти часы действительно не прислушивались к желудку; но уж и не к докладчику, в чем мне не раз доводилось убедиться.

Как-то раз присутствовал я на лекции одного молодого дирижера. Говорил он о венгерской народной музыке, о Бартоке и Кодае как собирателях музыкального фольклора, об исконной венгерской пентатонике и о том, что цыгане — всего лишь исполнители, а не сочинители венгерской народной музыки. «Следовательно, цыганская музыка не является венгерской народной музыкой», — сделал вывод лектор, и публика с энтузиазмом зааплодировала.

В углу зала стоял рояль, так что свою лекцию дирижер иллюстрировал примерами. В другом углу сидели четверо цыган, наспех сколоченный «оркестр», призванный доказывать обратные примеры. Вид у бедняг становился все более жалким и угнетенным, публичные обвинения придавили их горой.

Когда я уходил из клуба, цыгане уже и шелхнуться не смели, словно совершившие преступление не только против венгерской народной музыки, а против всей Венгрии в целом. Через час я снова взглянул туда. Цыгане, взмокшие от усердия, наяривали ходовые псевдонародные песенки, а слушатели горланили во всю мочь: «Эх да, с правого плеча

налево, эх да, с левого плеча направо»... Громче всех надрывался юный дирижер. «Как же быть с венгерской народной музыкой?» — поинтересовался я. «Некогда мне, — отмахнулся он. — Не видишь, народ веселится!» Спасибо, по шее не накостыляли.

\* \* \*

В плену культурные развлечения на вес золота: убаюкивают чувство тоски по родине, а в уста голодающих суют резиновую пустышку. «Не организовать ли нам театр?» — подбросил кто-то идею, и все загорелись. Актеры — потому что им хотелось играть, основная масса пленных — так как хотелось забыться, пропагандисты увидели в этом новую форму пропаганды... «Что будем играть?» — «Немого точильщика». — «Ладно, — согласился пропагандист. — Только надо подпустить туда политики». Сторонам кое-как удалось договориться, и родились первые курьезные постановки.

Попали на подмостки «Однорукий скрипач», «Американский цирюльник» и прочие образцы казарменных шедевров, по возможности слегка одобренные политикой. В одном из лагерей под Киевом начало венгерскому театру положил опус «Гимн труду». Из кузнечного цеха притащили наковальню, водрузили ее на сцену, и трое рабочих принялись ковать железо. Тут откуда ни возьмись появились три чертенка в красных хламидах и давай колотить, щипать, щекотать кузнецов, отвлекая их от работы. Автор пьесы объяснил, что чертенята изображают вредных буржуев-капиталистов, но публика, не вдаваясь в подробности, веселилась от души.

В конце спектакля на сцене появился красноармеец и смастеренным из консервной банки штыком разогнал дьявольское отродье, после чего вместе с рабочими запел «Интернационал». Публика устроила овацию автору, бакалейщику из провинции, который был на седьмом небе от счастья.

Пьесу «Король Котофей» играли в Киеве. Все персонажи были сплошь животные, каждый исполнитель в вырезанной из картона маске, что-

бы публике труднее было их распознать. В Стране зверей царят тишина и покой, но вот на сцену выходит лев и громовым голосом возвещает: «Караул, спасайтесь! На нас напал король Котофей»... Звери в ужасе сбиваются в кучку и ждут грозного врага. Ждут, пождут, а Котофей все не идет, потому как артиста отправили на кухню картошку чистить. Лев обращается к публике: «Нужна замена! Кто тут пошустрее?» На сцену вскакивает Затовец, бывший «медвежатник». Да уж, шустрее некуда!

Пока в гримерной Затовец переодевается, ему пересказывают роль. «Ай, бросьте! Уж что другое, а языком трепать я умею!» Затовец напяливает на себя полушубок мехом наружу. «В политике я не разбираюсь, но эта штука здесь к чему?» — допытывается он у автора, увидев на животе у «кота» крупную белую свастику. «Иди, иди, потом разберемся». — И его вытолкали на сцену. Король Котофей появляется с десятиминутным опозданием...

Его встречают бурными аплодисментами. Что бы после этого ни говорил Затовец, публика покатывается со смеху и аплодирует. Как проходил спектакль дальше, выяснить не удалось. Пятеро очевидцев высказывались по-разному. Вроде бы Затовец не скупился на ругательства. Сломал стул, хотел отколотшматить льва, но звери упростили этого не делать и откупились от агрессора котелком каши, каковую тот и слопал прямо на сцене, причем одного рьяного активиста, который напустился на Затовца: «Постыдились бы! Саботаж чистой воды!» Ответ Затовца мы приводить не станем.

Под занавес появился красноармеец, и все снова запели. Ходил слух, будто бы в Киеве две недели велись дебаты по поводу содержания пьесы. Одни говорили, что это, мол, обычная сказка про животных, другие полагали, что лев олицетворял мир, а кот — войну. Некоторые решительно утверждали, что король Котофей символизировал Гитлера. Десятилетней дочке начальника лагеря показалась очень трогательной сцена, когда лев дает поесть голодной кошке, но отчего у той на животе была сва-

стика, девочка тоже не поняла. Мы и сами не знаем. Автора перевели в другой лагерь, имени его никто не запомнил. Похоже, так и останется вечной тайной, что было нужно королю Котофею в Киеве.

Развлечения, это вечнозеленое древо духа, взросло на почве труда. Пока работа — мука, тоска и бремя, зеленая поросль вокруг нее чахлая, слабая. Но когда работа начинает заполнять жизненные рамки, придавая человеку самосознание и самоуважение, тогда и отношение к культуре становится иным — более взыскательным.

Конечно, не стоит обольщаться. Герои этой книги, сотни тысяч пленных, очутившихся на чужбине, не были знакомы с подлинной культурой своей страны. Каждый принес с собой то, что получил дома, на родине: дешевые романы, фильмы, а из театрального искусства и музыки — что перепало.

Двадцати четверем пленным мы задали вопрос: кто такие Ади<sup>1</sup>, Аттила Йожеф, Бела Барток и Альберт Сент-Дёрди<sup>2</sup>. Наиболее популярным оказался последний; двенадцать человек знали, что он «сделал витамин С, трое добавили даже, что он из Сегеда, восемь о нем и слыхом не слыхивали, двадцать четвертый полагал, что это «тот самый цыган-примаш, по которому народ до сих пор с ума сходит». Имя Бартока известно было троим, к тому же все трое знали, что это композитор, а один из них уточнил, что Барток «сочинил марш новобранцев».

В знакомстве с Эндре Ади признались семеро. Четверо из семи читали его произведения, а один даже знал наизусть стихотворение «Я, сын Гога и Магога». Что ж, сие достойно похвалы. Но вот об Аттиле Йожефе знали только двое, да и то понаслышке; одному представлялось, будто бы это депутат от Партии мелких хозяев, зато второй сказал, что Аттила Йожеф — поэт, который писал стихи о бедноте, а потом бросился под поезд. Упомянем имя этого единственного сведущего: Миклош Печи.

---

<sup>1</sup> Ади Эндре (1877–1918) — крупнейший венгерский поэт.

<sup>2</sup> Сент-Дёрди Альберт (1893–1980) — биохимик, один из основоположников биоэнергетики, лауреат Нобелевской премии.

Мы остановились на том, что голод стал стихать, труд обрел смысл, и стали в ходу первые «смешанные концерты». В это же время формировались и хоровые коллективы. По-моему, не было лагеря, который не имел бы собственного хора; стоит отметить этот факт, поскольку это важная веха на пути развития. Ведь зачастую хор оказывался первым человеческим сообществом в подневольной жизни. Пленные, освоившие не одно ремесло, а иной раз и до десятка, и гордившиеся этим, бывали растроганы, когда хормейстер созывал их и говорил: «Задаю тональность. Повторяй за мной...»

Я видел, как они заливались краской, прочищали горло и робко брали первый звук. Видел их нечаянную радость, когда они узнавали, что они не только плотники и кузнецы, но и первый — или второй — тенор, либо баритон. «Поищем среди вас солистов», — говорил хормейстер. Все до единого отказывались, но каждого распирало от гордости.

Хоровое пение объединяло, спланивало людей. Изнывающие в одиночестве, теперь они вместе пели, вместе учились, а подобный совместный труд всегда продуктивен, поскольку воспитывает в критическом духе. В каком-то из отделений Киевского лагеря номер 424 долго искали хормейстера. Среди пленных было четверо учителей, так что в первую очередь обратились к ним. Требовалось разучить песню «Алого бархата шапка моя». Но все кандидатуры отпали. Один из учителей потребовал достать ему ноты, другому не по душе были куруцкие<sup>1</sup> песни, третий слишком волновался перед публикой... В конце концов возглавил хор брадобрей по имени Йозеф Эсеш, который отродясь не занимался вокалом и в певцы выбился только здесь, в лагере. Иной раз репетировали до глубокой ночи, до хрипоты. Зато хор под его началом расцвел.

Развлечения притягивали, как магнит. Ведь людям приятно не только веселиться, но и повеселить

---

<sup>1</sup> *Куруцы* — участники антигабсбургских национальных восстаний XVIII века под руководством князя Ференца Ракоци.



других. Все больше народу стали принимать участие в самодеятельности. Клуб разросся до уровня театра. Более изобретательного существа, чем пленный, не сыскать. Бог весть откуда брались в каждом театре занавес, софиты, декорации и костюмы. Но весь реквизит непременно отыскивался, и подобно тому, как динамомашинка была изобретена одновременно Сименсом в Германии и Едликом в Венгрии, так и в сотнях лагерей люди сразу же додумались до того, как смастерить из ваты крашеный парик, как привязать к туловищу груди, чтобы они волновались, будто настоящие, и как из униформы немецких танкистов сшить великолепный фрак, стоит только присобачить к нему «ласточкин хвост» из черной материи.

Театр стал общим, более того, национальным делом. Вспыхнуло ревностное соперничество, какая из наций отличается находчивостью, выдумкой, эффектностью зрелища. Даже самые щепетильные лагерные аристократы одалживали кто рубашку, кто галстук, кто перчатки, если это требовалось для нужд театра. Во многих лагерях «аристократы» вообще не ходили на работу, их норму выработки брали на себя другие. Только бы не осрамиться! Портной до полуночи шил и гладил костюмы, счастливый от своей причастности к искусству и возможности получить место в первых рядах. Наступило время, когда в зале почти не осталось «зрителей» как таковых. Каждый принимал участие в спектакле, если не игрой, то одолженной актерам шапкой или носовым платком, и очень гордился этим.

Спрашивается, какие спектакли ставились в театрах? Не станем забегать вперед. «Короля Котофея» мы уже разобрали по косточкам, но это слабые, случайные пьески. Иногда пьесы записывались, восстанавливаемые по памяти, в другой раз робко и неумело пытались воплотить какую-нибудь идею... Не будем придирааться, докапываясь, хороша та или иная пьеса, либо плоха; гораздо интереснее разобратся, что поняли из нее зрители, что им понравилось, что сохранилось в памяти.

Нетрудно устроить проверку. Двум пленным из Кировского лагеря мы задали вопрос: «Что ты видел в театре?» Один из опрошенных, учитель по имени Геллерт, не только играл в спектакле, но и был режиссером — уж этот-то должен помнить. «Сначала был сольный номер. Хоссу пел на мелодию «Ну и вкусное печенье с взбитым кремом». Это, скажу я вам, надо было видеть! Хоссу — комик великолепный, так хорошо играл, все мы прямо умирали со смеху».

Второй — неискушенный зритель. Простака из простаков. Окончил два класса начальной школы, едва умел читать. Йозеф Ботош, бывший подсобный рабочий на заводе эмалированных изделий, отец четырех детей. Спектакль он не помнит, но, когда мы упоминаем Хоссу с его номером, хлопает себя по лбу.

«Ах, да! Сперва играл Рац, вместе с господином Дойчем — тот был переодет морским капитаном, так вот они изображали, вроде как прогуливаются в Пеште по главной улице. За столиком сидел Гробер и песни распевал, гусары толпились... Хотя нет, это не в тот раз было! А потом господин Дойч переоделся в женское платье, и очень лихо все они там отплясывали. А потом вышел к занавесу Хоссу и давай заливаться: «Ну и вкусное печенье с взбитым кремом» поет, а у самого рот мыльной пеной вымазан...»

Спрячем улыбку. Ботош со своим начальным образованием наверняка пытался отыскать взаимосвязь там, где и смысла-то не было: сольный номер, где у певца рот был в мыльной пене. Несомненно, Ботош несет чушь, но может, и на сцене разыгрывалась чушь. Послушаем режиссера.

«Затем была показана пьеса Кароя Ноти «Заяц». Там изображен муж, большой любитель скачек. Шеф его тоже увлекается бегами и отправляет подчиненного в Вену, чтобы тот понаблюдал за скачками и потом рассказал, как выступил их фаворит...»

Муж сказал жене, будто отправляется на охоту и привезет ей крупного, жирного зайца. Но забывает

в Вене купить зайца и, возвратясь домой, плетет, будто бы оставил добычу у дядюшки Штауба... Быстренько дает знать шефу, чтобы тот прислал зайца, но шефу подвернулись фазаны, вот он их и присылает дамочке. В это время появляется дядюшка Штауб, давний друг дома, который ни про каких зайцев слыхом не слыхивал. Вдобавок ко всему как раз в это время приносят фазанов... В общем, возникают всякие недоразумения. Выясняется, например, что сезон охоты на зайцев еще не наступил, ну и всякое такое...»

Итак, пьеса называется «Заяц». Помнит ли ее Ботош? А как же! И содержание пересказать может? Ясное дело! Вот как выглядит интрига в его пересказе:

«Зайца играл господин ротный с каким-то другим господином. Им, вишь, захотелось заячьего паприкаша, вот они и давай суетиться, принесут зайца, али нет. Принести принесли, только заяц больше смахивал на птицу, тут дамочка и смекнула, что муженек ейный на бегах лошадь украл. С такого станется, сразу видно был ловкач из ловкачей, ему коня увести — раз плюнуть. Но за кражу ему ничего не было, посмеялись все, да и только. А вот выпивки никакой почему-то не выставили. Имре Рац в женское платье переоделся — ну прямо вылитая баба!»

Вот вам, пожалуйста, другой вариант того же «Зайца». «Заяц больше смахивал на птицу», ни рыба ни мясо. Но Ботош в том не повинен, он всего лишь пытался отыскать реальность жизни там, где даже реальностью искусства не пахло. Не станем отрицать, наши симпатии на стороне Йожефа Ботоша, поскольку он ищет правду. Но может ли быть правда в живом искусстве, отражающем еще более фальшивую жизнь? Вопреки всей видимости Ботош не виноват, но не он и обвиняемый на этом процессе.

«В конце программы, — продолжает режиссер, — мы представили аллегорическую сценку, с текстовым комментарием прапорщика Ламмеля. Суть сцены — празднование Первого мая, участники — двое рабочих, магнаты, графы, солдаты, де-

монстранты. Ни содержание, ни текст значения не имеют, это ведь не пьеса, а скорее символ».

Ботош:

«Первого мая собралась тьма народищу, потому как и в этот день им велели работать. Принудительная работа, стало быть. А станок, на каком им надо было трудиться, не настоящий оказался; производить ничего не производил, но его крутить приходилось, а от этого ведь тоже устаешь. Тут прапорщик возьми да скажи: это, дескать, немоготу, другой тоже жалуется, мол, сил моих нету, и другие тоже. Прапорщик и говорит подавальщику у станка, что ты, мол, перед ним разоряешься, они уже себе брюхо набили, а теперь вон склабятся, ну, тем часом и демонстранты подоспели и изловчились красный флаг воткнуть. Властям было велено разогнать толпу, чтобы, значит, станок можно было крутить. Банкир все к властям обращался, и под конец до того дело дошло, что схватили этого банкира и увели, потому как он и войну, вишь ли, решил устроить. Орал благим матом, но его все равно увели, а потом все выстроились и запели. Тем дело и кончилось.

\* \* \*

Благими намерениями вымощена дорога в ад. Вот ведь и этот вечер лагерной самодеятельности затевался из лучших побуждений. Слились воедино духовный порыв, старания, талант, лишь бы повеселить Йожефа Ботоша. Ботош и не скрывает, что славно повеселился. К сожалению, мы убедились, что получилось из этого веселья: вместо театра какой-то блошиный цирк. Сценическую «продукцию» Ботош истолковал превратно. Найдется ли желающий укорить его за это?

Виноват тот, кто, выдавая мыльную пену за взбитые сливки, решил воспеть эту чушь, да еще и «сольным номером», виноват тот, кто игрока на скачках выставил драматическим героем и увидел комизм в ситуации, когда вместо ожидаемых зайцев проносят фазанов. Наверняка сыщутся такие, кому это покажется смешным. Ботош не смеялся, поскольку-

ку ему без разницы, что заяц, что фазан, главное, оба годятся для паприкаша. Заячье жаркое, пускай даже приготовленное из птицы, нужно прежде всего для утоления голода, а уж потом для развлечения. Сперва наедемся, после чего посмеемся — в такой последовательности, а не наоборот.

Аллегория — кстати, она носила название «Свободный май» — тоже нарушает последовательность. Народ собрался до кучи — Ботош углядел правильно; столь же верно он подметил, и для чего: «Потому как больше не вмоготу». Но ему бросилось в глаза, что станок не настоящий: ни гвоздей не производит, ни детали не штампует, работа впустую. «Его только крутить можно было», — заметил Ботош, тем самым сжато и поучительно сформулировав критический отзыв о концерте.

Если мы хотим все жить на одной планете — и «такие» венгры, и «этакие», — хорошенько запомним преподанный урок. Да послужит «печенье с взбитым кремом» услугой для девочек-подростков, а если уж поэтам захочется воспеть работу станков, пускай и станок будет настоящим, а не таким, чтобы его можно было «только крутить». Подлинный станок и подлинная жизнь, доступная пониманию не только прапорщиков, но и великому множеству таких, как Ботош. Всем до единого.

\* \* \*

Не без основания тратили мы время на разбор вышеупомянутой концертной программы. Это, можно сказать, та колодка, по которой формировались и прочие художественные достижения, поэтому и достоинства, и недостатки одни и те же. Хороши-то хороши, да все тесноваты.

Почти в каждом лагере возник свой театр. Сначала перебивались подобной пестрой смесью примитивного уровня, затем участники пытались записать по памяти то, что когда-то видели дома. В июне состоялось представление «Веселой вдовы», в других лагерях порадовали зрителей спектаклями «Гюль Баба» и «Страна улыбок». В Киеве кто-то

восстановил по памяти «Лилию» Мольнара<sup>1</sup>. Говорят, будто бы даже слегка напоминало оригинал. «Витязя Яноша» Петёфи ставили не меньше, чем в сотне лагерей, и на долю его постановок выпал наибольший успех.

Но этот скудный запас «домашних заготовок» вскоре иссяк. Теперь заработала на полную мощь «самодеятельность», о которой уже заходила речь. Пьесы выпекались как блины, сотнями. Работавший на угольной шахте Ласло Лойек написал пьесу о художнике, где фигурировали: портрет, некий студент, героиня по имени Эржебет и любовь; пьеса носила имя героини — «Эржебет». Некий почтовый служащий по фамилии Гардони сочинил пьесу «Приключение в Цигале», темой ее также послужила любовь — должно быть потому, что автор тоже трудился на угольной шахте.

Янош Олах в Одессе написал комедию «Сватовство ни свет ни заря». Чего здесь только не было: и раздел земли, и чардаш, и свадебный пир с вырезанными из картона бутафорскими яствами. В Новороссийске, который также расположен на черноморском побережье, ткач по фамилии Пеканович разразился пьесой «Прежний мир — новый мир», содержание которой сводилось к следующему: из легкомысленного пьяницы, отпрыска провинциального дворянства, государственного секретаря не получится. Театр там был большой, на пятьсот мест, с оркестровой ямой и с оркестром; инструменты удалось приобрести за счет сверхурочной работы по выходным дням. Тысяча двести пленных месяцами добровольно отказывались от отдыха, лишь бы «еще раз в кои-то веки послушать музыку».

\* \* \*

Вот она и зазвучала, музыка, успехи росли и множились, однако этот театр военнопленных, конечно же, мало походил на настоящий театр. Гораздо

---

<sup>1</sup> *Мольнар Ференц* (1878–1952) — видный писатель, драматург с широкой мировой известностью.

больше, чем содержание пьесы и актерская игра зрителей волновало, кто из знакомых играет, в чьей одежде, из чего сделан парик и где уворованы электрические лампочки. А уж если на сцену выходил прапорщик Икс или сержант Игрек в женской юбке или вечернем платье, играя роль Эржебет, Юлики или Шари...

Трудно описать этот момент, от которого дрожь пробегала по спине. Со сцены особенно хорошо было заметно, как изменялись лица зрителей, стоило только появиться на подмостках «женщине». Собственно говоря, кавычки излишни. В этой женщине только с первого взгляда узнавался исполнитель: «Глянь, никак это Вильмош Рац» или «ба, да это же парикмахер Бузаш». В следующий момент они воспринимались лишь как женщины — Эржебет, Юлика или Шарика.

Не забуду свое впечатление от Джульетты, роль которой исполнял слесарь из Кёльна по имени Хайнц Хюнербайн. Он стоял на крохотном балкончике, и на плечи его ниспадала волнистая рыжая грива ослепительной красоты. Парик был сделан из тончайшей медной проволоки, «позаимствованной» театральными фанатами в заводском цехе, и весил, наверное, кило пять. Прелестной Джульетте стоило большого труда удерживать прямую осанку. Сшитое из марли воздушное белое платье оставляло открытой до пояса спину с длинным розовым шрамом под левой лопаткой — след осколочного ранения, полученного Хюнербайном под Сталинградом. Сцена эта вызывала трепет, как все великие моменты жизни.

Видели мы и исполнительницу танца живота, и сегедскую молодку, и сварливую женушку, и соблазнительную красотку, и падшую женщину. Такое забыть невозможно. Это все равно, как пережить грозную опасность, или неожиданно встретить человека, о котором давным-давно не вспоминал, или когда на твоих глазах кто-то вдруг теряет рассудок. Зрители, пятьсот человек, годами не видели настоящей женщины, а тут Бузаш, переодетый в женское платье!.. Было во всем этом нечто реальное и все же

неестественное, успокаивающее и вместе с тем будоражащее — словом, это был театр. Настоящий человеческий театр.

\* \* \*

Один старик статистик подсчитал, что рядовой театральный спектакль обеспечивал работой сто семьдесят человек. И не только работой — он заряжал энтузиазмом. Чем выше поднималось в своем развитии лагерное общество, то есть чем лучше становилась организация труда, тем взыскательнее и совершеннее делались спектакли.

Парадоксальным образом развитие отнюдь не являлось заслугой интеллигенции. Так, например, в горах Армении, у озера Севан на высоте двух тысяч метров, из пятисот венгерских пленных двести человек были из офицерского состава; на лучшую пьесу, чем об иностранном легионе, их не хватило. Лагеря рядового состава могли похвалиться гораздо более серьезными успехами. Это замечание относится не только к театру. В каждой умственной работе тон задавали свежие силы, ведь работы такого рода немало, а по мере роста распределения труда станет еще больше.

Пленных пият, строгают, шлифуют, рисуют, гравировуют и даже рукодельничают. Причем не какие-то там чудаки, не знающие, как убить время, — таких полным полно на страницах любого романа из жизни военнопленных. Этим подогревает благородная цель, некая общая воля: театр, выставка, стенгазета, концерт — множество гаревых дорожек, где можно посостязаться с основным соперником — с немцами. В лагерях не принято хвалиться «хорошей атмосферой», зато смело можно сказать, что здесь зародилось и окрепло духовное коллективное сознание венгров. Первыми провозвестниками его были поэты. Ведь поэты всегда выступают первыми.

В душе гулко и пусто, как в подвале. Но каждый звук в этой тишине дробится, множится, отдается эхом. Вот это — утробное рычание пилы, а вон там —



ритмичный перестук кувалды: два удара отдаются в сердце, как две стихотворные строки, как две рифмы. По-моему, так зарождаются поэты. Плен породил их во множестве, но, к сожалению, в основном слабых. Правда, ведь и алмаз шлифуется алмазным же порошком; возможно, и поэты так же оттачивают друг об дружку свое мастерство.

Кое-кому из них мы уже дали возможность высказаться. В примерах этих интересно не то, какое стихотворение написал поэт; важно, какой человек пишет стихи. Какой человек, где и почему.

Лицо мое постарело,  
Но сердцем я молод еще.  
И в битвах заматерело  
Избитое тело мое.

Пусть руки мои ослабели,  
Я буду трудиться сполна.  
За вас всей душою радею,  
Сыночек родной и жена.

Хочу, чтобы хлеб доставался  
Не муками и не слезой,  
Чтоб горький удел оставался  
Не нашей судьбой, а чужой.

Стихотворение называется «Воскресение», автор его — Кальман Шимон, рабочий кирпичного завода: крепкий, коренастый, добросовестный, с кротким взглядом. Стихов прежде не писал, он и читать-то едва умеет. За душой у него шесть классов начальной школы. Работал в Воронежском лагере. Стихотворение под названием «Мой сынок» написал тоже он.

Сыночек, кровинка родная,  
Тебя я не видел почти.  
И ты без отца подрастаешь,  
А я здесь тоскую вдали.

Эх, только б до дома добраться,  
Обнять твою милую мать,  
И больше бы не расставаться,  
И больше бы горя не знать!

Вряд ли следует объяснять, что в стихах Кальмана Шимона важны не их художественные достоинства, а то, что написал их именно Шимон. Окольные пути всегда самые прекрасные в жизни, а тут перед нами поистине завораживающий крюк от завода в Туркеве до Воронежа и от кирпичной кладки до ямбов, почти безукоризненных.

Нетрудно подыскать поэтов вровень с Шимоном. Вот, пожалуйста — Режё Шамуэл Хусар. Окончил три класса коммерческого училища. Читал немного, зато хотя бы прочел Ади.

Весь свет на меня ополчился,  
Меня придавил небосвод.  
Мир тысячью пальцев вцепился  
В мой обвиняющий рот.

Кричи — тебя не услышат,  
Проси — все равно не дадут.  
Вокруг равнодушием дышит  
Холодный, безжалостный суд.

Нужда своим жестким скелетом  
Стянула больное нутро.  
Душа не согнулась под ветром,  
И ветер лишь вышиб слезу.

Хусар перепробовал немало занятий. Был садовником, статистом в фильме, официантом, к тому же в Париже, на втором этаже Эйфелевой башни. Ресторанчик принадлежал одному арабу, Хусар три месяца разносил там пиво. Затем вернулся на родину и вступил в должность «казначей семейной кассы»... после чего стал рядовым солдатом, позже — пленным, а еще позднее поэтом. Возможно, поэтом он и останется.

\* \* \*

Если подходить к людям с человеческими мерками, то нельзя не признать, что в душах происходит колоссальный сдвиг. Нельзя не признать, что хорошее пение, декламация, театр и обращение к

стихотворчеству свидетельствуют о возрастающих духовных потребностях людей.

В Усманском лагере, где было собрано две тысячи триста венгерских офицеров, «культурная работа» отличалась крайне низким уровнем. На театральных подмостках разыгрывались балаганные представления с шуточками вроде тех, какими пользуются ярмарочные зазывалы. Поначалу публика валом валяла — «не грех и поразвлечься», но последующие постановки шли при полупустом зале. Кислая продукция оскомины набилась.

С организацией хора тоже долго раскачивались. Сначала взялся за дело некий учитель. Помучился, помучился и бросил. Затем стал хормейстером Альфонз Надаши, военный священник бенедиктинец. Этот согласился, но с условием, чтобы его не заставляли дирижировать пением «Интернационала». Почему же? Да потому, что в тексте есть кощунственные слова: «Никто не даст нам избавленья, ни Бог, ни царь и ни герой».

«Интернационалом» ему и не пришлось дирижировать, вместо гимна был исполнен «Бурлящий мир» Кодая и венгерские песни, «исконно народные». Сформировалась небольшая группа любителей пения во главе с этнографом Петером Морваи, где разучивались старинные венгерские народные песни и проводилось сравнение с музыкой этнически родственных народов. Коллектив взял себе название «Певец-сказитель» и пользовался у слушателей невероятным успехом.

Актер Дёрдь Галамбош объединил вокруг себя группу поклонников Петёфи. Участники декламировали стихотворения Петёфи, а позднее Ади, Юхаса<sup>1</sup>. Аттилы Йожефа, исполняли стихи в переложении на музыку. Кто бы мог подумать, что Петёфи превзойдет в популярности Имре Кальмана?! Плен и здесь расставил все по местам.

Однако далеко не всегда поиски приводили к удовлетворительным результатам. Наиболее привлекательным номером программы по-прежнему

---

<sup>1</sup> Юхас Дюла (1883–1937) — видный венгерский поэт XX века.

оставались «трактирные сценки» с проходными фигурами тоскующего патриота или косоглазого цыгана. Впрочем, это была не просто дань памяти, а воспоминание о праздниках, не только аромат родины, но и привкус рислинга и сливовой палинки. Правда, со временем оказалось, что этого маловато для утоления жажды прекрасного.

Хорошо помню, как в танцевальном кружке ставили народный танец. Надо было не ударить в грязь лицом и во что бы то ни стало переплюнуть румын с их яркими, зажигательными плясками... От венгров вызвались шестеро, но на первой же репетиции выяснилось, что ни один из них не потянет. С примитивными притопами-прихлопами стыда не оберешься. «Надо позвать Хорвата!» — предложил кто-то.

Имре Хорват, старый крестьянин, сказал, что сам-то он уже не плясун, ноги не те, но коленца показать взялся. Как у них в селе плясали, потому что по-другому он не умеет. Скрипач-то найдется? Скрипач нашелся, и даже не один, предложив как танцевальный мотив песенку «Взошла чахлая пшеница». Хорват тряхнул головой. «Слушай!» — говорит, и затынул дребезжащим, старческим голосом знакомую с детства мелодию.

Скрипач подхватил, а шестеро танцоров выстроились на сцене и принялись разучивать показываемые стариком фигуры. Из шестерки волонтеров были два крестьянских парня, художник, топографский рабочий и два учителя. Они разучивали венгерский танец, как учится ходить ребенок. «Ладно ли будет?» — поинтересовался Хорват. «Здорово!» — ответили ему. Получилось и в самом деле здорово.

Танец ладный, но уж больно короткий. Репетировали, должно быть, час, когда Хорват заявил: «Ну а теперь быстрый!» Для быстрого ведь тоже подходящая музыка требуется, и скрипач опять было сунулся со своей «чахлой пшеницей»: всем, мол, нравится, но старик Хорват решительно отмахнулся. «А ну ее к лешему! — сказал. — Эта сюда не годится». Все и сами видели, что не годится, но где другую взять?

Вот тут и смолкли мы, мадьяры, надолго. Потом художник неуверенно так говорит, что вертится у него в голове один мотивчик... может, подойдет? В детстве жил он в сельской местности, но как шесть лет ему исполнилось, семья перебралась оттуда. Однако песенку эту он запомнил, под нее детишки в ручеек играли.

Борча, Борча, любушка моя,  
Загляделся в твои очи я.  
Знай: в тебя я до смерти влюбился,  
Радости, покоя, сна лишился.

От фиалок всё синё,  
Борча, выгляни в окно,  
Покажись во всей красе,  
Будто роза по росе.

За руки возьмемся,  
Низехонько пригнемся,  
Дружно повернемся,  
Обратно потечем.

Песенка понравилась остальным, Хорват и скрипач тоже одобрили. Ну а через две недели она и вообще снискала всеобщее одобрение: понравилась и венграм, и румынам, и русским, и даже немцам, хотя «что с них взять, с глухой нации этой, им медведь на ухо наступил» — как с легким пренебрежением заметил Хорват. Но недели две все до единого, даже «глухие немцы» напевали нашу «Борчу»... Трудно сказать, чем именно полюбилиась людям эта незамысловатая венгерская песенка. Может, как раз тем, что незамысловатая и венгерская?

\* \* \*

Когда строились Фивы, высокую стену вокруг города возводили два брата-близнеца, Зет и Амфион. Зет в поте лица, с недовольством носил и складывал камни, а Амфион сидел и играл на кифаре. И звуками кифары приводил камни в движение и заставлял их ложиться в нужном порядке. Музыка, мелодия способны творить чудеса.

Без песни труд — мука мученическая. Мы уже видели, как расходилось от труда кругами и ширилось пестование прекрасного. Стоило только небольшой кучке людей проявить инициативу, как ее с радостью и азартом подхватывали остальные, и круг участников рос день ото дня. Культура плена — коллективная культура. Общее дело или того больше: общий интерес.

Неделю пребывали в предвкушении очередного выступления, а потом целую неделю обсуждали увиденное. Критиковали, отмечали недостатки, вносили поправки и предложения. Артистов судили с такой же строгостью, как поваров.

Не следует толковать превратно, мы не собираемся петь хвалебные гимны. Никто не станет утверждать, будто бы во время Второй мировой войны в советском плену расцвела особая, самостоятельная венгерская культура. Рождались отдельные песни, мелодии, но эти разрозненные цветы не соединялись в букет, создавались стихи и пьесы «по случаю», но шедевров не появилось ни единого. На сей раз даже Геза Дёни<sup>1</sup> не предавался тоске в Красноярске. Была война, молчали музы. Но слушатели и читатели просили слова, а на сцену — в порядке исключения — выходили даже зрители.

Рабочие с кирпичного завода писали стихи, ткачи сочиняли комедии, крестьяне подбирали к ним музыку. Конечно, культурой в полном смысле слова это не назовешь, но это устремление и потребность. Твердое устремление и все возрастающая потребность — два плода, вызревшие в плену. Не знаю, много это или мало, но плод это крепкий и здоровый, а из семян его, быть может, пробьются ростки лучшего мира.

\* \* \*

Когда мы опрашивали своих товарищей по несчастью — интеллигентов, рабочих и крестьян, — знают ли они, кто такие Ади, Аттила Йожеф и Барток,

---

<sup>1</sup> Дёни Геза (1884–1917) — поэт; находился в плену, в Красноярском лагере.

мы задали и такой вопрос: какую книгу им хотелось бы прочесть? О чем следует писать сочинителям?

Интересно, что из двадцати четырех опрошенных половине хотелось бы прочесть о событиях последних пяти лет. «Этакую уйму людей на бойню погнать — тут вам не шутки», — высказался Лайош Чери, каменщик. Миклош Печи тоже желает узнать, «правду»: что и почему произошло с ним. «Любовь меня не волнует, кино тоже. Узнать бы, что происходило за кулисами». Это слова не какого-нибудь там разочарованного политика, а молодого помощника ювелира.

Читать о любви захотели только двое, оба интеллигенты: один — служащий, а другой — широко образованный юрист, доктор Ференц Ковач. Последний добавил: «Военной темы лучше не касаться, пока не забудется этот кошмар...» Похоже, растревоженная совесть интеллигенции жаждет забвения.

Но есть и такие, кого интересует будущее. «Сколько книжек понаписано, а что толку? Хоть бы кто написал, что нас ожидает!» — сказал Дюла Касса, земледelec из Прибалатонья. «Описать тяготы прошлого, а главное, рассказать, что с нами будет!» — требует Ласло Керестури. Предыдущие двенадцать человек призывали к ответу прошлое. Пятерым хотелось бы заглянуть в будущее. Семнадцать человек желают одного и того же: исторической правды.

Остаются четверо; этим желательно прочесть о труде. «К примеру, пройдитесь по городу, посмотрите, как живут люди. Хорошую книгу можно написать об этом! Вот и пишите о труде!» — заявляет металлист Ласло Тараи. Шандор Паал, паренек с Большой венгерской изменности, дает такой наказ: «Описали бы, как живется людям в нашем привольном степном краю да на хуторах. Чем питается народ, как трудится. Пусть книга будет понятна тому, о ком она написана. Напишите книгу про нас, такую каждый прочтет».

Стремление и потребность — было сказано выше. Нужны ли еще доказательства? Двадцать человек из двадцати требуют правдивой, честной ли-

тературы. Двадцать человек из тех миллионов, кого лишили земли, равно как и культуры. Теперь они наконец-то получили право на то и на другое. Кто знает этих людей, не усомнится: с тем же тщанием, с каким обрабатывают полученный надел, они вспашут и духовную целину.

## СЕРДЦЕ БЬЕТСЯ ЧАЩЕ

Лагерная жизнь обделила пленных пьянящим ощущением праздника. Стоит вспомнить прошлое, и стаканами хлебай молодое вино на торжестве в честь сбора винограда, а взамен новой любви достаточно воскресить в душе прежнее увлечение. Правда, воспоминания эти подувяли, словно прихваченные морозцем, однако способны вновь расцвести одно за другим. Они становятся ярче, близкая женщина — краше, любовь — прекраснее и счастливее, а мускат — и дешевле, и слаще. Цыган-примащ, Макаи, сформулировал эти чувства кратко и точно: «Господи, какими же идиотами мы были!»

Идиотами мы были потому, что — если признать правоту Макаи — «дома мы ходили, повесив нос, вместо того чтобы прилюдно приплясывать на одной ноге». Ведь жили не тужили, все-то у нас было, необходимое для счастья: свой небольшой дом, два кабанчика на откорм да милая, добрая женушка.

Сроду не были столь прекрасны мадьярки, как сейчас, в благодарной памяти пленных. Дядюшка Лаци Чонтош не только изменял жене, но и поколывал ее; перед нами же отзывался о ней, как о «заботливой и внимательной», «верной и преданной до гроба», а уж «как улыбнется, и вовсе краше нее не сыскать в целом свете». И тут дядюшка Лаци не одинок: для каждого возлюбленная сделалась прекраснее и чище, какую из венгерских женщин ни возьми — сплошь одни Беатриче.

Кто еще не женат, каждому не терпится жениться. Только бы до дома добратся, а там уж тотчас готов взять за себя свою невесту, свою любушку или полюбовницу, а ежели таковой не имелось,



то хоть бы какую дальнюю родственницу. Поэтому нечего удивляться, что дядюшка Лаци заочно-заглазно пристроил всех трех своих племянниц: Гизи, Мици и Гермину, хотя Гизи уже дважды успела овдоветь.

Иногда возникают поистине трагикомические ситуации. Один молодой актер из Сегеда состоял в партии нилашистов, где познакомился и обручился с барышней, которая «тоже участвовала в движении». После освобождения страны актер этот отправил письмо в Сегед: «Не знаю, что случилось с вами, Манцика, но, если вас не вздернули на виселицу, я по-прежнему готов жениться». Не примите это за шутку: по меньшей мере десятеро из нас видели его послание.

Да, женщины наши стали прекраснее некуда, но верны ли они?.. Это больной, навязчивый вопрос. Стоило только коммивояжеру Марковичу выдать очередную историю о своих любовных похождениях с супругой провинциального галантерейщика, как тотчас возникал вопрос: а как там моя? Жена, невеста? Хранит ли верность или изменяет направо-налево?

\* \* \*

Изредка встречаются и такие, кого этот вопрос оставляет равнодушным. Портной Элекеш в спорах всякий раз вставляет свое: «Мне, например, без разницы. Есть у меня родная дочка, но ежели вернуться домой, а их там окажется двое — так все оно лучше, чем ни одной». Большинство это высказывание встречают в штыки. Да мыслимо ли это?! Ведь жена знает, каково нам здесь приходится, неужто у нее хватит бесстыдства изменять... Ну а если голод и нужда заставят? Если изнасилуют? «Ежели баба не захочет, никто ее не снасильничает!» — заявляет все тот же многоопытный портной Элекеш.

Другие не разделяют это мнение. Имре Лендел, например, признается, что облик близких людей рисуется ему размытым и расплывчатым, как в тумане. «Ведь мы четыре года в разлуке. Небось и жена

не может припомнить в точности, как я выгляжу. Ничего удивительного, если не сохранит верность». «А ты какого мнения на этот счет? Скажи, только откровенно!» Арпад Рене, бывший приказчик из москательной лавки, до сих пор не принимал участия в разговоре, сидел молча, с присущим пленному откровенным видом. В ответ на адресованный ему вопрос он вскакивает, как ужаленный, и срывается на крик: «Пусть только попробует с кем другим спутаться! Да я ее из дома вышибу, чтобы духу ее там не было!..»

В Арпаде Рене вновь проснулся мужчина — волевой, энергичный, способный решить свою судьбу. «Вышибу!» — в сердцах еще раз повторяет он и плюхается на койку. Достает кусок хлеба и в бессильной досаде принимается жевать. «Так ведь в доме дети, имущество, наши личные вещи — все там о нас напоминает, — вмешивается кто-то примирительным тоном. — Не изменят нам наши жены, вот увидите!» «Изменит, не изменит, мне наплевать! — заявляет один из лагеря сомневающихся. — Я и сам больше не вернусь к ней!»

Это Лайош Долина, крестьянин из Задунайского края. Остальные переглядываются. Всем известно, что Долина до сих пор не получил писем из дома, а потому терзается подозрениями и злится, ругает жену почем зря. «Нужна больно! — твердит он. — Да пропади она пропадом!» Большинство сходится на том, что Долина жену свою не любит. Иначе с какой стати ругать ее на чем свет стоит? «Пусть катится на все четыре стороны!» — завершает свои гневные речи Долина, и всего лишь несколько человек из нас знают, что перед Рождеством он наведалься к механикам. «Сделайте из этого сердечко, — он протянул серебряную монету. — Маленький кулон, чтоб на шею носить. С одной стороны пусть будут буквы “Л. Д.” — мои имя-фамилия, значит, а с обратной — “Тереза Киш”. — «А кто это?» — поинтересовался кузнец. «Жену мою в девичестве так звали». — «Зачем же так писать?» — «Вырежи, как сказано!» — буркнул Долина. Выложил две пайки хлеба и попросил кузнецов никому не говорить о его заказе. И был

совершенно прав. Вся эта история была бы еще трогательнее, оставайся она в тайне от всех. Теперь она не столь прекрасна, зато поучительна.

Такая маленькая тайна, крохотное серебряное сердечко есть у каждого. Без этого, судя по всему, не прожить. Кому не выпала удача, тот сам старается ее урвать. Так поступали обделенные — кто не получал писем из дома. Бывали случаи, когда одалживали весточки у других: два дня носит при себе, не растается, дурашливо улыбается. Когда никто не видит, достает открытку, где чужой человек пишет другому о своей любви, и самому на душе вроде легче делается.

Случалось, что письма покупали. Не жаль ни хлеба, ни супа, лишь бы держать в руках письмо из дому — пусть даже не из своего собственного. Известен случай, когда пленный украл у другого пленного фотографию девочки, которую никогда в глаза не видел, и прятал ее у себя целый год. Его застукали, когда он в очередной раз любовался фотографией, и вернули отцу. Но ни у кого не повернулся язык сказать, что это, мол, вор, коль скоро украл чужое.

\* \* \*

В одном подмосковном лагере нас, венгров, было сто пятьдесят человек. Публика самая разношерстная: крестьяне, торговцы, инженеры; гражданские лица и военные, генералы, министры и дипломаты. Были среди нас партизаны с красной ленточкой на шапке, попадались и такие, у кого «рыльце в пушку».

Как-то раз, зимой 1944 года, в лагерь доставили нового пленного — в сопровождении двух конвоиров. В этом не было ничего особенного, поскольку в лагере содержалась элита. В первый же вечер выяснилось, что вновь прибывший — из Будапешта, в чине прапорщика, а по роду занятий — университетский профессор. Он просил не называть его имени, поэтому пусть будет, скажем, Шандор Лани.

Вид у него был потерянный. Очки на носу, кроме очков ничегошеньки, да и те с треснутым стеклом. Одежка — живописные лохмотья, рубаха как у обо-

рванцев с полотен Мурильо, брюки с бахромой на обтрепанных штанинах. Даже обувки нормальной у него не было — потерялась где-то. Словом, такой нескладный был этот Лани, истинный ученый, к жизни совершенно не приспособленный, уму непостижимо, как он вообще цел остался.

Ему отвели место в десятом бараке, на верхних нарах, по соседству с взводным Габором Патаки. Даже годы спустя Патаки вспоминал появление Лани в лагере. «Этакого хлюпика отродясь не встречал», — говаривал он. Но Лани извлек замызганную тетрадку и принялся заучивать слова.

Через несколько недель они сблизились, в результате чего Лани только выиграл. Взводный был расконвоирован, то есть мог свободно бывать в городе, он совершал выгоднейшие обмены, и в запасе у него всегда водились лакомые кусочки. Кстати, здоровенный он был, как бык, и вскоре полюбил профессора, как способны любить подобные горы мяса.

Лани постепенно набирался сил. Патаки раздобыл для него башмаки, портянки, справную одежду, снабжал едой. Иногда по ночам приятели лакомились холодной печеной картошкой и мясом. Слышно было, как они прячут под подушку обглоданные кости, как хлеблют молоко или хрустят яблоком. Через три месяца Лани уже выходил из барака прогуляться, а к концу четвертого месяца неожиданно для всех вдруг расчесал свои спутанные космы. К тому времени на его нарах уже повсюду валялись книги и листки с записями — Лани вновь обрел себя.

\* \* \*

Теперь уже приятели обращались друг к другу на «ты» и знали все секреты друг дружки. Патаки называл дочку профессора попросту «Эстер», и иногда они ссорились до хрипоты по вопросам воспитания: можно ли баловать ребенка? Лани давал Габору Патаки уроки по всей форме, полностью пройдя с ним материал средней школы, поскольку у взводного было всего два класса начального

училища. Но котелок у него варил как надо, и все знания он схватывал на лету. Научился говорить по-немецки, освоил физику, химию и начатки философии. Понял, что является человеком, который наделен правами и обязанностями, и теоретически научился есть при помощи ножа и вилки, потому как дома обходился карманным ножиком. Там ему приходилось прореживать сахарную свеклу в графском поместье.

Содружество это просуществовало два года. Мы, составлявшие их ближайшее окружение, понимали, что это уникальная человеческая связь, чистейшая из чистых: взаимосвязь учителя и ученика, где и учитель, и ученик постоянно менялись местами. Ведь и Лани научился у взводного кое-чему, что трудно назвать одним словом как учебный предмет. Он познал реальность жизни и общественную практику. Если в области астрономии Лани выступал профессиональным лектором, то раздобыть печеную картошку — тут уж докой был Патаки. Знание и того, и другого равно необходимо в жизни.

Два года спустя их сообщество распалось. Профессора отпустили на родину, взводный остался отбывать срок. Разлука его не сломила. Патаки выучил русский, стал читать Толстого и Лермонтова. Увлёкся историей искусства. Завел толстую тетрадь, куда заносил для памяти такие факты: «Флоренция, на берегу реки Арно. Ее называют городом ренессанса. Период расцвета — кватроченто, что по нашему означает пятнадцатый век...» Патаки, словно губка, вытягивал из офицеров знания, какими те обладали. «Знаешь, зачем мне это? Чтобы Янике не было за меня стыдно, когда домой вернусь...» И украдкой стал сочинять стихи.

Таков жизненный путь Габора Патаки — вернее, та часть пути, что ведет вверх. Направление это не экстраординарно, разве что масштабы незначительны. Пройти путь плена — значит пройти путь обучения человечности. Набираешься опыта, осваиваешь новое, меняешься и вырастаешь в широчайшее человеческое сообщество: единение созна-

тельных людей. Не каждый добирается до романов Толстого и попыток стихотворчества, но почти все достигают духовного очищения и человеческого самосознания. Можно смело назвать это чувство самосознания демократией, поскольку по ту сторону проволоки, на языке свободных людей оно называется именно так.

\* \* \*

В разгар лета 1946 года Патаки вызвал меня из барака. «Найдем какое-нибудь местечко потише», — сказал он и утащил меня в дальний конец лагеря, за пекарню, куда никто не заглядывал. Там протянул мне листок бумаги со стихотворением. «Здесь описано, как нас разлучили с Яникой... В общем, сам поймешь». Я прочел и похвалил стихотворение. Патаки зарделся и в ответ сказал, что сам-то он не очень в стихах разбирается, но он показывал господину генерал-майору Рускицаи и Шандору Винту, что на кухне служит, и им обоим стихотворение понравилось, и, значит, может оно и впрямь не так уж плохо. «Держи этот листок у себя, — распорядился Патаки, — и, если раньше меня домой попадешь, передай Янике». Я пообещал; потом вскользь заметил, что мог бы и опубликовать его в печати — конечно, после того, как вернусь домой. Патаки опять зарделся и сказал, что он, мол, не против, но лишь в том случае, если я уверен, что над ним не станут смеяться. И, не прощаясь, ушел.

Я привожу здесь это стихотворение в полной уверенности, что ни у кого оно не вызовет усмешки.

Тебя со мной разлучили,  
Отрезали как по живому.  
Первая боль притупилась,  
Теперь болит по-другому.

Заброшенный в края, где все чужое,  
Я обречен сносить судьбы удары.  
Единое нельзя разнять надвое,  
Один не значит половина пары.

Два человека — словно нация одна,  
Сплоченная всей прошлой жизнью,  
Где труд, язык наш и душа  
Корнями общими вросли в землю Отчизны.

За эту землю я борюсь, не только за тебя!  
Закон всей жизни твердо я усвоил:  
Не важно, обретут Отчизну для себя  
Несметное число людей иль только двое...

«Война была  
для меня  
самым  
значительным,  
судьбоносным  
событием  
ЖИЗНИ»

*Письма  
Публицистика  
Рассказы*





# ПИСЬМА<sup>1</sup>

12.X.1945

Дорогие мои родители и Марианн!

Небольшая группа наших возвращается домой, в том числе мой друг Бузаш, который расскажет вам обо мне подробнее. Я был бесконечно счастлив узнать, что вы все трое живы-здоровы. Напишите, пожалуйста, как вы, где вы. Бузаш объяснит, каким образом переправить ответ.

Думается, наша встреча не за горами, а писать о себе по прошествии столь долгих лет трудно. Много случилось всякого — всего не пересказать, да и письмо не вместит. Но у меня все в порядке, со здоровьем вполне терпимо, смотрю на вещи с неистребимым юмором — это был единственный способ выжить в тяжкие времена. Больше всего изводила тревога о вас, вести с родины приходили до того ужасные, что даже теперь, читая газеты, диву даешься, как вам удалось уцелеть. <...>

Беспокоиться обо мне нет никаких причин, живу в условиях, вполне благоприятных, и по возможности пишу. Очерков социографического характера набралось на отдельную книгу, глядишь, и роман написать удастся, хотя завершить его я предпочел бы дома. Что творится у нас в стране, ума не приложу, неотвязно думаю, как отразятся на вас материально эти трудные времена, однако не вижу ни малейшей возможности помочь вам, пока нахожусь здесь. <...> И вновь, и вновь тревожит мысль: здоровы ли вы? Меня беспокоило это еще в тот момент, когда мы разлучались, а ведь тогда главные передрыги были впереди. К счастью, человек спо-

---

<sup>1</sup> Письма И. Эркеня из Красногорского лагеря в переводе на русский язык публикуются впервые.

собен вынести гораздо больше, чем мог бы предположить.

Вижу, каким тревожным и грустным получилось письмо, а ведь я задумывал написать его не таким, да и вообще оно не соответствует моему настроению. На том кончаю письмо в надежде, что Рождество мы встретим вместе, и с любовью целую вас всех.

Ваш любящий сын

*Пишта*

30.X.1945

Это мое последнее письмо. Отсылаю с оказией лишь для того, чтоб этот музейной ценности документ не пропал понапрасну.

На станции уже формируют эшелон, и я с большей охотой поучаствовал бы в сборах, нежели отсиживаться здесь, в тепле и уюте, при электрическом свете и за новой пишущей машинкой. Однако же нечего сокрушаться попусту, ведь я давно усвоил: иной раз все складывается гораздо лучше, чем тебе хотелось бы поначалу. Вот и все, что касается философии.

К сожалению, не упомянуть в деталях, что я написал вам за прошедшие три недели, но надеюсь, в результате какая-то картина все же вырисуеться из моих посланий. В первую очередь это касается моих просьб относительно рукописей. За это время кое-что изменилось: появилась пишущая машинка, и я взялся за перепечатку. Хотелось отправить вам хотя бы три рассказа, наиболее близких моему сердцу. Два перепечатать успел, а вот третий вынужден был прервать на 13-й странице. Придется вам продиктовать кому-нибудь остальное по рукописи. <...> Ну, да что это я все о делах!..

Чувствую, надо бы сказать хоть что-то и о себе, вот только боюсь показаться нескромным. Надеюсь, приятели мои должным образом отзовутся о моем уме и приятной наружности и не преминут подчеркнуть, насколько я прост и скромен при всех своих достоинствах. Ведь вздумай кто понаблюдать за мной при утренней побудке — нипочем не догадается, какая пропасть талантов во мне заложена. И во-

обще, я очень сдержанный, чуть ли не робкий, хотя поведения образцового. Вся прочая информация, какой располагают Бузаш и Ланг, — сплошь порождение их зависти. Это что касается моих друзей.

Рад бы похвастаться своими языковыми способностями, но мой русский пока что не безупречен. Должен признаться, находятся русские, в особенности среди людей образованных, которые по выговору определяют во мне иностранца. Вообще хотелось бы расписать себя во всех деталях, но вокруг шум, гам, суматоха, каждую минуту новые вести, люди заходят, выходят — где уж тут сосредоточиться. <...> Пожалуй, и хватит о себе.

И наконец о способе переписки. Напишите о себе все — обстоятельно, подробнейшим образом и передайте кому-нибудь из членов КП, желательно в надежные руки. Если почему-либо не получится, можно отправить через Бузаша в Москву, на адрес редакции «Игаз Со» или московскому руководству КП. Для подстраховки неплохо бы указать и мой адрес, который официально звучит так: «СССР, Спецобъект 40», или «Антифашистская школа, Красногорск». С адресами все. Письма идут довольно медленно, так что об отправке следует позаботиться заблаговременно.

Дорогие мои, кругом — дым коромыслом, так что письмо кончаю. В надежде на скорую радостную встречу всех вас целую и обнимаю.

*Пишута*

14 июня 1946 года  
Красногорск

Дорогие мои родители!

«По техническим причинам» сложилось так, что мы, ассистенты преподавателей, включены не в первую, а во вторую группу, поэтому приедем с опозданием в несколько недель, если не месяцев. Конечно, нашей общей радости это убавляет, но тут мы ничего изменить не в силах. Значит, надо как-нибудь продержаться эти недели.

Зато вместо себя направляю к вам своего чрезвычайного посланника, Ласло Луковски; он-то и передаст вам это письмо. Прошу принять его с большей любовью, чем та, что выпала бы на мою долю, поскольку в теплоте и внимании он нуждается сильнее. Минувшей зимой, которая оказалась отнюдь не легкой, он в конечном счете спас меня от морального и физического срыва, вдохнул силы и желание продолжать трудиться. Мы строили планы, как по возвращении домой Лаци поселится у нас, даже творческие замыслы были общими, насколько могут сработаться писатель и художник и насколько можно вообще что бы то ни было загадывать, находясь здесь. Прошу вас считать его своим сыном, ведь он мне больше, чем брат, и подобно тому, как тут мы делили с ним горе и радость, скудные пожитки, которые у нас были, хотим, чтобы и впредь все оставалось так же. Поэтому всю мою сохранившуюся одежду, пожалуйста, отдайте ему и до моего возвращения поддержите его материально, не позволяйте переселиться от нас, но, главное, не давайте падать духом. О семье своей он по-прежнему ничего не знает, а даже если и узнает, боюсь, как бы это не оказалось хуже неизвестности.

Конечно, я понимаю, в какое щекотливое положение ставлю всех вас, и наверняка все было бы естественнее и проще, находишь я с вами в качестве посредника, такого «наведенного моста». А так... вы в конце концов друг другу чужие, к тому же вас неизбежно ждет разочарование: вместо Эркена получили Луковски, художника вместо писателя, а он, в свою очередь, станет деликатничать и стесняться, как тот обездоленный человек, кто не привык получать милостыню, но обойтись без нее не может. Держитесь радужнее и веселее, чтобы рассеять его смущение. Представьте себе, что я с вами: уж я бы сумел шутить и дурачиться, постарался бы переломить всякую неловкость.

Я и к другим обращаюсь с просьбой помочь ему устроиться на первых порах, но прежде всего рассчитываю на вас. Коль скоро уж нам не суждено вернуться домой вместе, пусть хотя бы наши мечты

о совместных книгах не развеются прахом. Окажите Лаци необходимую материальную и моральную поддержку, чтобы он не хватался за любую работу, а смог заняться тем, к чему душа лежит. А главное — прошу уделить ему внимания и любви: в плену жаждешь не леденцов, но человеческого тепла и участия, и жажда эта неутомима. Думается, не стоит вдаваться в подробности, полагаюсь на ваши добросердечность и такт. Пожалуйста, прошу вас, примите Лаци как сына, покуда я не вернусь. Хотя, по-моему, и тогда положение не изменится, разве что семья пополнится еще одним членом.

О себе вряд ли еще стоит писать — Лаци расскажет обо мне куда больше, нежели любые пространственные послания. Меня прямо-таки распирает от нетерпеливого ожидания, даже работа из рук валится. Посылаю рукопись, более-менее полную подборку русских стихов, которую мне останется потом лишь чуть дополнить и снабдить предисловием. Не знаю, стоит ли что-либо предпринимать на этот счет до моего приезда — может, послать несколько стихотворений в газеты, пусть начинают подготовительные работы. <...> Очень рад выпуску цикла «Они вспоминают», а также предполагаемому изданию рассказов. Больше ничего готового у меня нет, но дома будет. Чую нутром: теперешнее мое нервное состояние не способствует сочинительству.

Здоровье мое — лучше не бывает. Лаци распишет в красках, как я растолстел, чем — вспоминая о недавних временах, когда во мне едва набиралось тридцать девять килограммов, — горжусь до чрезвычайности. Делать ничего не делаю, отдыхаю, будто на курорте, и жду, жду... Непрестанно жду.

Полагаю, теперь я изложил все, что только может вобрать в себя письмо.. Если пожелаете узнать еще что-нибудь о моей повседневной жизни, обращайтесь к непосредственному свидетелю и очевидцу. Кстати, он вовсе не плохой рассказчик. По прошествии стольких лет трудно представить, уцелело ли что-либо от того, что прежде я называл «своей комнатой» — с письменным столом, книгами, балконом. Если уцелело — разместите там означенного

свидетеля и очевидца: пускай учится и работает, тогда и я почувствую, что учусь и тружусь, а главное — живу в нем, с ним и со всеми вами. Сложись все по-другому, и завершение истории военного плена было бы иным, не столь необычным и романтическим, а банальным, как по-писаному: возвращение блудного сына, слезы, объятия, красное вино. Так оно куда как прекраснее. Следует усматривать в этом не огрехи бюрократии, но красочное многообразие жизни, каковое вижу и я. Не позволяйте обладать в ваших душах серости и унынию будней; если вы втроем станете ждать меня, то и я с утренней силой буду готовиться к возвращению. Считанные дни или недели спустя я тоже окажусь дома, куда стремился вопреки всему, в самых нештучных ситуациях. Но теперь мне это наверняка удастся.

Обнимаю вас и всех моих друзей.

*Ваш Пишта*

## 24.VI

Дорогие мои родители!

Сегодня получил ваше письмо от 6.VI, с фотографией Марианн и письмом от нее, а также с коммюнике «Грядущее» — словом, ответ на мое послание, переданное вам Иллешем<sup>1</sup>. Уж и не знаю, с чего он взял, будто бы я «хочу» отсидеть здесь еще один семестр. Об этом не может быть и речи! Истинное положение вещей таково: документы наши давно подписаны, так что мы выпущены на свободу, но нас всего пятеро, стало быть, остается технически уладить вопрос о транспортировке: самолетом или поездом, когда и с кем, ведь ради пяти человек не будешь снаряжать целый караван. Щедрыми посулами мы уже сыты по горло, мол, всего и подождать-то какие-то считанные дни или месяцы, однако хочется верить, что к концу июля я так или иначе попаду домой...

А пока что стараюсь как-то заполнить эту бессмысленную пустоту. Время тянется, будто осто-

---

<sup>1</sup> *Иллеш Бела* (1895–1974) — писатель.

чертевшие летние каникулы, когда не чаешь конца дождаться.

Ваше письмо доставило мне большую радость, коммюнике составлено вполне тактично, хотя не знаю, зачем понадобилось менять название книги столь пошлым образом<sup>1</sup>. Надеюсь, хотя бы текст не подвергся изменению; в своем сопроводительном письме я поставил это обязательным условием. Ничуть не удивляюсь, что творения мои появляются в печати лишь спорадически, в конце концов издатели тоже не без греха, и, если бы мы поменялись местами и они сидели тут, может, я тоже не торопился бы с публикацией их опусов. Ладно, как-нибудь перебежусь, покуда не вернусь, а тогда сам буду разбираться.

Но вот Марианн пишет<sup>2</sup>, что ей, к сожалению, с трудом удастся отправлять вам посылки, и из одной этой фразы я узнал о вас больше, чем из двадцати до сих пор полученных от вас писем. Ведь вы неустанно заверяете меня в том, что все у вас «обстоит по-прежнему» и вы, мол, припасли такие-то и такие-то вкусности к моему приезду, а я, бестолковый, вообразил, будто бы там у вас если уж не царит изобилие, то нужды вы во всяком случае не испытываете. Меня это неприятно поразило хотя бы потому, что я и так докучал вам своими просьбами, а теперь сокрушаюсь, не взвалил ли на вас непосильное бремя. Поэтому — как я уже писал раньше — воздержитесь (но деликатно) от каких бы то ни было щедрых жестов, однако же, если это вам под силу, до моего возвращения оказывайте поддержку Лаци<sup>3</sup>. Не хочу, чтобы, задавленный нуждою, он хватался за работу, с которой не справится и которая задушит его. Иное дело, будь я дома, но все равно мне хочется, чтобы и до моего возвращения он ощущал моральную поддержку, знал, что в Пеште у него есть крыша над головой и минимум необходимого. Не думаю, что он

---

<sup>1</sup> Издательство по собственному произволу дало произведению И. Эркеня «Они вспоминают» название «Прежде чем попасть сюда».

<sup>2</sup> Сестра Эркеня, Марианн, в это время находилась в Словакии.

<sup>3</sup> *Луковски Ласло* (1922–82) — художник из Мишкольца, друг И. Эркеня.



чересчур привередлив, да и плен отбивает охоту к излишествам. Упаси бог, чтобы Лаци со своей пролетарской щепетильностью вообразил, будто бы он вам «в тягость» и ушел куда глаза глядят, тем самым загубив себя, хотя и нужно-то всего лишь продержаться какие-то несколько недель.

В предыдущем своем письме я просил Сендрё, по возможности, протолкнуть наше дело по линии партии, а теперь и Немеш написал Бузашу в том же духе, а потому прошу срочно переслать это его письмо, равно как и послание Добаи. Доведите все вышеизложенное до сведения Лаци, пусть поймет, что не следует добиваться принципиального решения вопроса, поскольку все бумаги вроде бы подписаны, нужно лишь поскорее изыскать технические возможности нашего отъезда, иначе дело может затянуться. Если сумеет, пусть попробует вмешаться, но с мелкими сошками экспериментировать не стоит.

Всех вас с любовью целует

*Пишта*

24.VI.1946

Дорогой Лаци (Луковски)!

Как же горевал я, что вы там так разнюнились, а я — нет, тем более когда выведал у сопровождавших, как вы сотрясались от рыданий на аэродроме в Будапеште. Я сразу же вычислил, что сцену срежиссировал ты, а не Клемент, — где ему. Не представляешь, до чего худо и пусто без вас, иной раз кажется, вот-вот задохнусь. Мы остались — семеро неутешных и те, что в очереди за нами, правда, меня зазывают туда-сюда, передают с рук на руки, пытаюсь отвлечь. Лучше бы уж не делали этого, так только хуже терпеть. Но затем я все же собрался с духом, написал два рассказа и приступил к роману о военнопленных<sup>1</sup>, который предполагаю завершить именно так, как мы с тобой договорились, а затем ты проиллюстрируешь его.

---

<sup>1</sup> «Народ лагерей».

Конечно, писания мои далеки от совершенства, но ты-то знаешь, каково это: валяться в саду под деревом и думать, что тебе давным-давно следовало бы находиться не здесь, а дома, и лишь походя, через завесу ностальгии, воображать перед собой своих героев и описываемые места действия. А вокруг и жизнь-то ненастоящая, и даже не та, что тщишься описать в романе, а дурная, слепая и глухая видимость жизни, из которой однажды ты вырвался и опять в ней застрял. Жизнь, которая определяется бессмысленным стечением обстоятельств.

Надеюсь, Лацика, что ты тоже трудишься в поте лица, не шляешься целыми днями, где вздумается, а учишься, рисуешь и читаешь. Я оставил дома кучу книг — тебе на поглощение. Рисуи нынешний Пешт, ведь это момент истории. Вылупляется цыпленок из яйца, а вокруг — руины, треснутые и разбитые стены. И теплится новая жизнь — мягкая, в пушку. Смотри окрест себя повнимательней и рисуи. Не забывай, что те, кто находился дома, этого не видят, не замечают. Для них все это было логическим процессом, для же — взрыв и сенсация.

Береги себя и моих родителей, старайся поддерживать совместное бытие, к которому готовлюсь и я. Вспоминай иногда мои наказания — хотя надеюсь, через несколько недель, несмотря ни на что, быть дома. А до той поры приветствую тебя и с любовью обнимаю

*Иштван Эркенъ*

26 июля 1946

Г-ну Хуго Эркеню

Будапешт V

ул. Микши Фалька, 12

Дорогие мои родители!

Получил вашу давнюю (рождественскую) открытку и более позднюю открытку от Магды, чему очень обрадовался. Надеюсь, вы в добром здравии,

и то же самое могу сказать о себе, хотя обещание скорого возвращения, судя по всему, оказалось преждевременным. Дело затягивается, и в ближайшем будущем отъезд не предвидится. Правда, это всего лишь наш вывод, поскольку официально речь идет о нескольких неделях. Но подобными обещаниями нас тешат вот уже более полутора лет, а воз и ныне там.

Июньские газеты к нам уже пришли, но в них ни намек на то, когда состоится День книги и выйдет ли в свет моя книга «Они вспоминают». Я видел единственное упоминание об анонсе — то, что вы прислали мне, и откуда я с величайшим удивлением узнал, что название книги изменено и звучит совсем по-дурацки. «Как мы дошли досюда?»<sup>1</sup> — задает вопрос издатель, хотя так и подмывает спросить, как сам он дошел до того, чтобы менять название книги без согласия автора. Надеюсь, хотя бы в рукописи оно сохранилось.

Что касается сочинительства, то в последнее время как-то не пишется: нервы каждого из нас совершенно издерганы этими бесконечными обещаниями, которые не выполняются. Однако надеюсь все недоделанное восполнить по осени дома, а вас тоже прошу запастись терпением; необходимо верить, что любые тяжкие испытания в конечном счете преодолеваются. Всем мой горячий привет, а вас целую миллион раз.

*Ваш Пишта*

Пишите, пожалуйста. И о Лаци Луковски хотелось бы знать, что с ним случилось. Об остальных наших, кто вернулся домой, не упоминайте, по-моему, это не разрешается, пишите только о себе.

3.VIII.1946

Дорогие, родные мои!

Возвращение наше, к сожалению, опять откладывается. В силу чисто технических причин полу-

---

<sup>1</sup> «Прежде чем попасть сюда».

чилось так, что наш черед настанет только через несколько месяцев. Возможно, до тех пор на родину отправится еще одна партия, но два месяца назад мы не рассчитывали на это, так что не впадайте в панику. Рано или поздно дойдет черед и до нас, а пока здешние товарищи окружают нас всяческой заботой и вниманием, чтобы рассеять тяготы ожидания.

Прошу вас по-прежнему оказывать содействие в моих литературных делах. В сообщениях касательно Дня книги я понапрасну искал отзывы на «Они вспоминают»... Если старания опубликовать книгу оказались безуспешными, попытайте счастья в другом издательстве, но желательно под названием «Они вспоминают» и непременно с изначальным текстом. Быть может, найдется издатель и для антологии. Заголовок «Русские поэты — антология советской лирики» соответствовал бы ее содержанию.

Хоть и немного, но я все же работаю и с возвращающимися домой пришлю несколько рассказов. Кроме того, тружусь над романом, недавно начал и пока что не знаю, что из этого получится, однако намереваюсь во что бы то ни стало «подвести его под крышу», прежде чем приступить к более обширным проектам, которые мы обсуждали еще с Луковски...

Очень прошу, не беспокойтесь обо мне. Берегите здоровье и ждите. Марианн нежно целую, Лаца обнимаю, а вас и обнимаю, и целую.

До свидания!

Ваш сын

*Пишта*

15.VIII.1946

Г-ну Хуго Эркеню, Будапешт V,  
ул. Микши Фалька, 12

Это письмо я прошу передать одну из наших коллег по школе, она возвращается домой. Наконец-то вы получите обо мне добрые вести, хотя в последний раз я отсылал письмо через Красный Крест. Теперь

эта организация заработала быстро и надежно, так что и вам советую воспользоваться такой же возможностью.

Вопрос о моем возвращении пока что не актуален, руководители школы называют срок в полтора-два месяца, который, однако, может и растянуться... Я по-прежнему пребываю в добром здравии, много тружусь, получая всяческое содействие... Вот и к этому письму прилагаю кое-что из написанного: один-два рассказа... Один из них, «Прощание», я предполагал отдать в газету, поскольку он короткий, а другой — из-за нехватки бумаги в стране — пока может полежать под спудом. Здесь я полагаюсь на вас... Сейчас я работаю над социографией, исследованием жизни военнопленных, которое, пожалуй, возымеет на родине успех. Это будет — если будет — моя пятая книга за год, меня даже пугает такое количество: как бы оно не пошло в ущерб качеству...

Последняя весточка от вас — открытка Красного Креста от 22 мая.

Целую несчетное количество раз.

*Пишта*

18.IX.1946

Мои дорогие родители!

В середине июня, когда по техническим причинам мы выпали из числа возвращающихся, было объявлено, что через две-три недели и мы отправимся домой. К сожалению, это не осуществилось, хотя, несмотря на неоднократные отсрочки, эти обещания вплоть до настоящего момента поддерживали во мне бодрость духа. Точнее говоря, этот искусственно поддерживаемый оптимизм дал мне стимул работать, и истекшие три месяца не пошли псу под хвост. Используя накопленный за четыре года материал, я написал «Сердце бьется чаще»<sup>1</sup>, чему очень рад, ведь дома вряд ли до этого руки бы дошли, разве что втиснул бы этот огромный факто-

---

<sup>1</sup> Окончательное название — «Народ лагерей».

графический материал в рамки повести или романа, и было бы очень жаль. Ну, а так беллетристика потерпела убыток, зато в качестве исторического документа мое творение ценнее, тем более что других, похоже, не предвидится, так что наряду со всеми его недостатками исследование станет уникальным.

Книга писалась в критический период, еще тогда, когда мы с полным основанием надеялись, что в ближайший месяц-другой отправимся на родину. В принципе ситуация остается прежней, ведь не нашлось ни одного человека, кто бы прямо сказал, что на возвращение домой в ближайшем будущем надежды нет. А между тем грянул гром среди ясного неба: все наше учреждение переводят неведомо куда, мы и сами не знаем, так что все мои надежды пошли прахом. Ведь это довольно большой аппарат, перемещение и реорганизация которого — не шуточное дело, поэтому сейчас здесь мало возможностей у кого-либо заниматься вопросами транспортировки, а уж тем более отправкой на родину одного-двух человек, какую бы ценность они ни представляли.

Словом, не хочу сказать, что по воле начальства теперь нас не отправят домой, но в данный момент, судя по всему, шансов для этого маловато. Поэтому я и подумал, что можно бы оттуда слегка подтолкнуть дело, а поскольку Фёльдеш наверняка не откажет вам в добром совете, прошу по прочтении этого письма обратиться к нему. Он в полной мере ознакомлен со здешней ситуацией, да и с тамошней тоже. Только вот поговорить с ним я не успел и с письмом вынужден закругляться. Единственный реальный вывод: хлопоты Лаци Сендрэ зашли в тупик. Вовсе не хочу принижать его заслуги, но факт, что результата они не дали. И разумеется, никакой вины Лаци нет в том, что я все еще нахожусь тут.

Между тем я отовсюду слышу, что одного за другим отсылают людей, которых требует правительство, и это в основном куда менее значимые персоны, чем я, хотя, видит Бог, я никогда не преувеличивал собственную значимость. Говорят, с избытком увозят на родину тех, кто «укрывал евреев», и прочих «героев сопротивления», а я отсижи-

ваюсь в лагерях вот уже который год, хотя тоже сделал кое-что во имя венгерской демократии и хотел бы споспешествовать делу и впредь, если, конечно, в итоге не придется ползти домой на карачках. Конкретно же, пожалуй, Коложвари, Ийеш, Ковач или Болдижар могли бы сделать что-нибудь для меня, а их вмешательство, глядишь, и привело бы к каким-нибудь результатам... В конце концов мое пребывание в плену неотделимо от общего литературного дела, уж это писатели поймут наверняка, поскольку владеют даром воображения и не смогут не заметить, что в этом деле больше творческой специфики, чем политики. В плену гибнешь прежде всего как писатель, а уж во вторую очередь как человек или партийный активист, либо кто там еще. Но любому здравомыслящему человеку нетрудно вообразить, ценой каких невероятных нервных усилий и неслыханных затрат энергии всего организма дались пять книг, написанных мной в лагерях.

Кстати, вполне вероятно, что теперь в связи с переездом я долгое время вообще не смогу писать, ведь пройдет не один месяц, пока сыщется комнатка и пишущая машинка, необходимые для работы. Вот и приходится сейчас колотить по клавишам без разгиба. Но пусть вас это не огорчает: я по-прежнему хорошо держусь, со здоровьем все в порядке, я и поныне легче справляюсь с трудностями, чем иные помоложе меня — те сдают и ломаются прямо на глазах. Да я и не за здоровье опасаюсь, а за свой оптимизм, ведь им я расплачиваюсь за все, это моя золотая валюта...

В надежде на встречу всем передаю привет, прежде всего Луковски и Сендрё, вас же целую бесчисленное множество раз.

*Пишта*

5.VIII.1946

Мои дорогие родители!

Только что получил вашу открытку от 22.V, посланную через Красный Крест, и очень обрадовался весточке. Очень прошу, напишите, действительно ли

опубликована книга «Они вспоминают», я встречал лишь краткое упоминание об этом. К сожалению, отъезд наш снова откладывается по техническим причинам, так что даже в следующую группу мы не попадаем. Пусть вас это не пугает, зато я смогу прислать с оказией парочку рассказов, а через несколько месяцев явлюсь и собственной персоной. А пока начал писать роман, хотелось бы прогнать его вчерне; до другого моего замысла, который я обсудил с Лаци Луковски, черед дойдет лишь потом. Хорошо, если бы Лаци переговорил с Сендрё на предмет того, как там отнесутся к такому сюжету. Если переводы понравились, их можно бы и опубликовать, коль скоро добрейший Вайна выправил бы их сам или поручил кому-то другому и написал (или кому-то доверил написать) предисловие. Заголовок мог бы звучать так: «Советские поэты», «Антология русской поэзии» — что-то в этом роде. Что касается меня, я ожидаю нашей встречи в добром здравии и хорошем настроении и вас прошу запастись терпением: самое трудное уже позади. Пишите через Красный Крест по нижеуказанному адресу и, если книга моя выйдет, — пришлите. Лаци обнимаю, вас и Марианн с любовью целую. Keep smiling!<sup>1</sup>

*Пишта*  
*Иштван Эркень*  
*СССР, Москва, лагерь № п/я 27/40*

---

<sup>1</sup> Сохраняйте улыбку, будьте оптимистами! (Англ.)



## ОТРЫВКИ ИЗ ИНТЕРВЬЮ

В январе 1943 года вместе с остатками отступающей Второй венгерской армии я прошел триста километров в кошмарных условиях. Совершившие прорыв части Красной армии настигли нас, и я попал в плен. Я был в числе шестидесяти четырех тысяч венгров, кого тогда и там же постигла одинаковая участь. Но одновременно с нами в плену очутились сотни тысяч немцев, итальянцев, румын, и началось гигантское перемещение этих масс к востоку. Навстречу нам нескончаемыми плотными колоннами двигались части Красной армии. На нас они внимания не обращали, просто указывали направление, куда идти. Дело в том, что советское командование совершенно не было готово к такому количеству пленных и уж никак не рассчитывало, что нацисты столь гнусно поступят со своими союзниками, чуть ли не по заранее намеченному плану бросив незадачливых сателлитов на милость противника. Много можно бы порассказать об этой подлости: о том, как препятствовали немцы организованному отступлению венгерских частей, как лишали нас транспорта в условиях, когда наличие средства передвижения было равносильно сохранению жизни, как безжалостно стреляли в венгров, которые при отступлении пытались забраться в немецкий грузовик...

Долгие месяцы текла эта нескончаемая река пленных по шоссевым дорогам, безо всякого конвоя. Русские крестьяне, подчистую обобранные отступающими немцами, делились с нами последними крохами, благодаря чему мы и остались в живых. За время этих долгих странствий многим пленным удалось довольно таки неплохо устроиться, застряв где-нибудь в русском селе. При полном отсутствии рабочих рук крестьяне охотно принимали чужаков,

и не один из них объявлялся на сборном пункте лишь долгое время спустя.

Что касается меня, то я после месячного скитания попал на сборный пункт в Черненке, а уж оттуда — в Тамбовский лагерь для военнопленных, между Старым и Новым Осколом, на берегу реки Оскол. Там я начал писать книгу, за неимением бумаги делая заметки огрызком карандаша на клочках, выдаваемых русскими на закрутки. Когда по лагерю разошелся слух о том, что я пишу книгу, ко мне устремились товарищи по несчастью; каждый спешил сообщить мне имена и факты, поделиться впечатлениями, рассказать случаи не только трагические, но порой и анекдотические — в результате этого коллективного труда возникла книга «Народ лагерей». Не я писал ее, а те триста тысяч венгров, кто находился в советском плену. Я выступал лишь в роли писца.

(1947)

Теперь трудно представить себе ситуацию, в которой зародилась эта книга. Вместе с сотнями себе подобных я обитал в одном бараке, выходил на работы, то есть никогда не оставался наедине с собой. В армии и в плену всегда оказываешься тесно связан со множеством чужих, не знакомых друг с другом людей. Это побуждает рассказывать о своей жизни. Плен — это пора великих повествований. Воспоминания о прошлом рвутся словно в распахнутые шлюзы. В такие моменты людям кажется, будто прошлым можно объяснить настоящее.

В плен я попал молодым, начинающим писателем, с тощим сборничком рассказов за плечами. Для моих сочинений на заре писательского поприща были характерны этакая игривость и склонность к сюрреализму; я не слишком церемонился с реальностью, предпочитая давать волю воображению. А затем очутился на войне и в плену — в реальной действительности; более жестокую гнетущую реальность трудно вообразить. Подобно тому, как у

любого писателя есть основное, главное переживание, которое сопровождает его в ходе всей жизни, для меня важнейшим событием стала война. Не грохот боевых орудий, а сформированное войной человеческое общество. Близость судеб явилась для меня потрясающим впечатлением.

Я пытался сориентироваться в этой плотной среде реальности. Мне удалось упорядочить ее, изображая действительность прежде всего в ее грубой и неизменной форме. Цикл «Прежде чем попасть сюда» содержит исповедальные рассказы десяти человек. Я всего лишь дал им выговориться, писательская работа заключалась только в выборе именно этих десяти. В их рассказы я внес минимальные изменения. Впоследствии я попытался обобщить этот материал, по-прежнему сохраняя под ногами почву непосредственного опыта. В результате возникло социографическое исследование лагерной жизни, которому я дал название «Народ лагерей». И лишь когда я упорядочил все свои впечатления, то бишь составил их точную схему, я взялся за этот материал как писатель. Тогда была создана моя первая пьеса — «Воронеж», которая несет на себе следы пробы пера, моей драматургической неопытности и неумелости. Рассказы, написанные в то же время, что и пьеса, затрагивают круг тем, связанных с войной.

Опыт, приобретенный за годы войны и плена, сопровождает меня всю жизнь. Естественно, я много писал и о другом, но с этим опытом связана значительная часть моих рассказов и повесть «Семья Тотов».

А свою первую послевоенную книгу я теперь воспринимаю как робкое шевеление организма, приходящего в себя после шока. Это была книга, где я примеривался к миру, в котором мне предстоит жить. Я исходил из необходимости познать тех людей, с которыми должен буду жить и которых должен считать своими товарищами.

Кстати сказать, в те годы многие сотни тысяч людей находились вдали от родины, как и я. Всеми правдами и неправдами мне удалось по частям переправить свои записи домой, и они были опублико-

ваны еще до моего возвращения из плена. Каждый в Венгрии пытался прочесть между строк некое послание, адресованное именно ему. В книге следует оценивать не литературные качества, а прежде всего ее особую значимость, вытекающую из мучительных условий создания. «Народ лагерей» содержит бесчисленное множество имен и фактов и дает широкое представление о том далеком от родины мире, где мы тогда жили.

(1970)

## ДАВНЕЕ ВОСПОМИНАНИЕ

### 1

Не просто — даже для меня — совместить в пространстве и времени эти тускнеющие воспоминания, но еще сложнее воспроизвести их так, чтобы стало понятно и тем, кто этого не пережил.

Тогда я уже довольно долгое время находился в лагере для военнопленных под Тамбовом, среди дремучих лесов. Мое физическое и душевное состояние было весьма неважным: я только что перенес сыпной тиф, а несколько мелких ранений, год назад нанесенных минными осколками, никак не хотели заживать по причине нехватки витаминов, хотя я целыми днями возился со своими ранами, перевязывая их всякими тряпками. О родственниках давным-давно не было ни слуху ни духу, о том, что меня ждет дальше, сейчас, в самый разгар войны, даже думать не хотелось, я знал лишь, что более убогого существа, чем я, не сыскать в целом свете. И тогда в лагерь привезли лейтенанта госбезопасности по фамилии Накропин, приставленного к пленным французам, так как он студентом изучал французский язык в осажденном Ленинграде, откуда его доставили самолетом. Уже сам факт, что его вывезли оттуда, был равнозначен чуду. Если память мне не изменяет, удачей своей он был обязан тому, что учился и работал в Эрмитаже, но, возможно, я ошибаюсь. Ведь после тифа человеку первое время отказывает память. Одно ясно, что институт был первоклассный, а сам Накропин по части языков оказался гениален. Освоить французский как следует — задача невозможная, но ему удалось достичь невозможного, вот только с произношением Накропин был не в ладах. А его, собственно говоря, и в Тамбов-то направили для того, рассказывал он,

чтобы вести политическую работу среди французских пленных.

Начальству, видно, было невдомек, что эльзасцы скверно говорят по-французски, гораздо хуже, чем Накропин. Зато я, изучавший французский в Лозанне, обладал самым благозвучным в мире французским произношением, только грамматика у меня хромала. Вот так и сошлись два тощих дистрофика, которые затем — благодаря французскому языку — сделали друзьями на всю жизнь. К сожалению, позднее мы расстались, вернее, встретились еще раз, когда он три дня провел в Будапеште, но мы так напились на радостях, что оба лыка не вязали, только по-прежнему испытывали любовь друг к другу.

Впрочем, пожалуй, нам и не о чем было бы говорить, ведь мы все сказали друг другу в Тамбове. Сквозь затмение, какое вызвал тиф, и поныне всплывают в памяти рассказы Накропина о ленинградской блокаде и его глухой, бесстрастный голос, звучавший ночи напролет. Город подвергался осаде два с половиной года. Суточная норма хлеба — со спичечный коробок. Три миллиона жителей Ленинграда умерли от голода. Он, Накропин, отца своего, когда тот умер, обернул газетами, протащил по улицам на детских санках и столкнул в братскую могилу. Позднее свез туда же и мать, тоже обернув газетами. Мозг у меня был еще отупелый, но я перестал считать себя самым несчастным существом на земле.

Следует добавить, что двадцать пять лет спустя я впервые в жизни увидел Ленинград. Мы жили в роскошной гостинице, и за нами заехал друг, чтобы покатать по городу на машине. Спросил, что мы хотим посмотреть. Я сказал — кладбище.

Могил на кладбище нет, только бесконечные ряды простых бетонных плит над массовыми захоронениями. На плитах не написаны имена, ведь некому было тогда регистрировать умерших. Но даже когда мы там были, через четверть века после блокады, повсюду на могилах лежали какие-то сверточки. При неярком свете апрельского солнца я подошел ближе — взглянуть, что приносят мертвым остав-

шиеся в живых. Я увидел шоколадный батончик, пакетик леденцов и аналогичные символические приношения — все съедобное. Что было в сверточках, не знаю, но думаю, тоже какая-нибудь еда.

Затем мы объездили весь город. Теперь с памятью у меня все в порядке, но, когда я думаю о Ленинграде, я вижу перед собой только маленький шоколадный батончик.

## 2

Важнейшим событием, поворотным этапом моего извилистого писательского пути была Вторая мировая война.

Событие это с тех пор не дает мне покоя, время от времени воскресает во мне в том или ином виде, и, полагаю, доколе хватит у меня сил говорить, я не смогу молчать о нем. Здесь нет ничего удивительного. Война — это самая что ни на есть концентрированная жизнь, ибо она — воплощенная смерть. Каждая минута несет в себе возможность стать последней. Поэтому время дешево и вместе с тем дорого. Война есть столкновение крайностей. Трусость, себялюбие, готовность ничтоже сумняшеся бросить другого в беде — явления столь же естественные, как героическое самопожертвование и братская солидарность. То, что нам довелось пережить, являлось воплощенным страхом и вместе с тем победой над страхом. Я помню такие ситуации, абсурдно гротескные и в то же время трагические и кроваво реальные. Ну не гротескная ли картина, когда десяток-другой взрослых мужчин, стоя на склоне холма, при тихом, свистящем звуке откуда-то из-под перистых облачков в мирном небе вдруг, как по команде, плашмя бросаются наземь? И может ли быть что-нибудь трагичнее и реальнее, когда один из этих двадцати, кто был твоим другом, минутой позже лежит подле тебя бесформенной грудой кровавого мяса?

Одно это воспоминание — а сколько их таких? — способно перевернуть всю жизнь. Какое-то время я пытался писать на прежние довоенные темы и в

прежней манере, но потом понял: придется все начинать сначала. Время для этого у меня было: четыре года я обретался в разных лагерях для военнопленных. Мною владело единственное стремление: как-то передать, поделиться с другими тем, что я пережил.

(1973)

Война была для меня самым значительным, судьбоносным событием жизни. Как ни странно звучит, но именно тогда я стал человеком. Ведь если разобратся, кем я был прежде? Изнеженным, более или менее (скорее менее) образованным молодым человеком с литературными амбициями, подкрепленными тонюсеньким сборником рассказов...

Война означала постоянную близость смерти; гибель, потеря жизни превратились в банальный факт: словно чиркнуть спичкой и дать ей догореть — такова была цена человеческой жизни. Впрочем, не это являлось для меня решающим обстоятельством, главное, что я враз очутился среди великого множества людей. Практически это означает, что на протяжении пяти лет я ни на минуту не оставался один. В лагере, в бараке, нас было, если не ошибаюсь, восемьсот человек. Бараки наполовину врыты в землю. Они и сейчас стоят у меня перед глазами, занесенные снегом, почти неотличимые на фоне зимнего пейзажа. А в другом лагере, где я пробыл три года, нас было тридцать тысяч: венгров, должно быть, тысячи три-четыре, итальянцы, румыны, французы, волонтеры из французского легиона и так далее. Я в одночасье влился в массу людей столь малой песчинкой, что даже имени моего никто не знал. Жил буквально бок о бок с другими, ссорился, смеялся, голодал вместе с ними, поскольку выпадали и такие времена. Я стал частью большого общества, что только для меня было внове, поскольку до войны я жил благополучно, не зная забот, имел отдельную комнату в шестикомнатной родительской вилле. Судьба моя сделалась неотделимой от судьбы моих



товарищей по несчастью. С ними я трудился, с ними мечтал о возвращении домой, с ними слился воедино. В плену не было рангов, не было богатых и бедных, там каждому полагалось шестьсот граммов хлеба в сутки, миска супа на завтрак, каша в обед и та же каша на ужин. Я стал неотделим от окружающего мира без какого бы то ни было осознанного намерения с моей стороны. Принадлежность к сообществу, общность судьбы целиком и полностью преобразовали меня и все мои воззрения, ведь в прежней моей жизни царил дух некоего аристократизма и привилегированности. С тех пор я даже слышать не могу о какой-то там писательской избранности. Я такой же человек, как другие, и совершенно не чувствую себя каким-то особенным; просто ремесло у меня другое, я работаю с другим материалом, но в человеческом отношении я не отличаюсь от служащего, работа которого состоит в том, чтобы писать. Я чувствую себя человеком, судьба которого связана с судьбой других. Без них я дышать не могу. Нет у меня какого-то особого пути в жизни, путь для меня лишь один. Эту истину я постиг в плену и принес с собой на родину.

(1974)

Военный плен — участь на редкость незавидная, но те, кому довелось ее пережить, думается, прошли неплохую школу. Мы, венгры, оказались в заключении с представителями всех наций, какие Гитлер сумел подбить на губительный для них поход против большевизма. Это значит, что вместе с нами были немцы, французы, чехи, австрийцы, японцы, и, хотя у каждого народа были отдельные бараки, тем не менее сформировалась какая-то общая международная жизнь. Большинство пленных было из простонародья, они отродясь не видели французов, а уж тем более негров (из французских колоний) — ведь и такие среди нас попадались. При совместном проживании неизбежно складывалась общая судьба. Поначалу мы жили друг возле друга, но постепенно стали жить совместно друг с другом.

Вместе выходили из лагеря на работы, а впоследствии, когда условия жизни стали приобретать более цивилизованный характер, мы начали получать книги, организовали театр, что еще более сплотило массы. По причине избытка свободного времени особое развитие получил в плену жанр устного повествования. Лично мне представилась возможность познакомиться со столькими людьми и столькими человеческими судьбами, как никогда прежде. Отпрыск состоятельной буржуазной семьи, я знал лишь поверхностные человеческие отношения. Ну а здесь людские души распахнулись передо мной до глубины, здесь я впервые осознал: то, что «представляется однородной массой», таит в себе судьбы, любой — даже самый заурядный, несловоохотливый — человек хранит в душе свои воспоминания, страсти, мечты и устремления. Складывалась некая поверхностная общность взглядов, которая поначалу сводилась к минимуму пожеланий: скорей бы конец войне, скорей бы домой. Но с течением лет мы пришли к более глубокому сознанию; я, например, почувствовал, насколько сходны мы — интеллигенты, рабочие, крестьяне — в своей потаенной внутренней жизни. Такое впечатление, будто бы до этого я жил с завязанными глазами и лишь теперь, волею судьбы, вдруг узрел порой трагические, порой комические, но всегда вырисовывающиеся на ностальгическом фоне душевные контуры. За пять лет я столкнулся с неимоверным количеством людей; после судьба разбросала нас кого куда, но связующие нити не разорвались. С тех пор я чувствую: максимум, что один человек может дать другому, — это солидарность. Вся моя человеческая этика базируется на этом слове, оно же является ключевым и в моей писательской деятельности.

В лагере все мы были существами израненными. Я-то был ранен и физически, но в душевном смысле пострадали все без исключения. Если и существовало когда-либо абсурдное положение, то наше было именно таковым. Мы были пленными страны, на которую сами напали с оружием в руках, хотя эта страна ничего худого нам не причинила. И все же с

нами обращались по-человечески, я разве что слышал, как охранники ругались, но за четыре с половиной года ни разу не видел, чтобы кто-то ударил пленного. Мы жили с угрызениями совести, зная, что нам никогда не дожидаться снисхождения от истории за содеянное. Израненные, истерзанные душевно, мы иной раз умели подбодрить друг друга всего лишь добрым словом. Такая вовремя оказанная поддержка способна творить чудеса. Поэтому я только пожимаю плечами, когда говорят, что теперь, мол, утрачена связь меж людьми. Мне не передался пессимизм ни здешних моих друзей, ни западных. Говорить, что помочь людям невозможно, способен лишь тот, кто взирает на ближнего как бы с отдаления или же холодными глазами. Я же ясно отдаю себе отчет: тем, что я сейчас произношу эти слова, я обязан исключительно людям, тому человеку, кто в трудную минуту поддержал меня, или тому, кто, сам будучи ранен, спасал мне жизнь. Коротенькое слово «если» не имеет смысла ни в масштабах мировой истории, ни с точки зрения биографии отдельного человека. И все же это «если» кажется мне правомерным. Не пройди я школу войны и плена, тогда, пожалуй, и я бы теперь был одним из апологетов философии Беккета. А так могу лишь твердить — порой без подкрепления должными аргументами, — что нельзя считать человечество пропавшим, покуда один человек способен помочь другому.

(1976)

# РАССКАЗЫ

## ПОСЛЕДНИЙ ПОЕЗД

Город — далеко внизу, у подножья леса — казался почти вымершим. Пустые дома на пустых улицах; слепые глазницы окон отражали сияние послеполюденного солнца. И только у вокзала наблюдалось кое-какое движение, а перрон буквально кишел беженцами. С гор время от времени долетала артиллерийская канонада; тревожный гул волнами прокатывался по толпе, по-новому перетасовывая ее и смыкая плотнее, — так волны утрамбовывают прибрежный песок. Пучком травы лейтенант счистил грязь с сапог и спустился по крутому склону вниз.

Он сделал немалый крюк, чтобы попасть к буфету, но буфет был уже закрыт. Пройдя чуть дальше, он протолкался в привокзальный ресторан, но и здесь посетителей не обслуживали. За столиками расположились зажиточные семейства; эти люди доставали дорожные припасы не из узелков, а из кожаных саквояжей, поблескивавших монограммами, и запивали еду черным кофе из термосов. Лейтенант вернулся на перрон и отыскал табачный киоск. Здесь тоже было пусто, весь товар — несколько выцветших почтовых открыток с видом местной римско-католической приходской церкви, памятника Бему на фоне сберегательной кассы и обзорной вышки.

Однако продавщица находилась на месте; она подкрашивала губы, а глаза у нее были заплаканные.

— Сигарет не осталось? — спросил лейтенант.

— Только те, что в витрине.

— Они же, наверное, не продаются.

— Шутник вы, — женщина подняла на него мокрые от слез глаза. — Как по-вашему, для кого я их придерживаю?

Двое суток у него не было во рту сигареты. Он скупил все, что завалилось в киоске, рассовал пачки по карманам, закурил, жадно затянулся.

— Будет еще какой-нибудь поезд? — небрежно поинтересовался он.

— Разве что на Варад, — ответила продавщица.

— А когда он отправляется?

— Вроде бы сейчас, — сказала продавщица. — Но жандармы снимают с поезда всех, кто в военной форме.

— Я ведь спросил просто так, — пояснил лейтенант. — Моя дорога — на фронт.

— Туда дорога открыта, — сказала продавщица и на миг задержала на нем взгляд своих заплаканных глаз. — Дело в том, что штатской одежды у меня больше нет.

— К чему мне она? — устало бросил он.

— Все, что от мужа осталось, я уже раздала.

— Какая разница, — махнул рукой лейтенант. — В Вараде снова прочешут весь состав.

— И все-таки в штатском можно скрыться, — сказала продавщица.

— В штатском — пожалуй, — согласился лейтенант.

Он поймал себя на том, что пальцами левой руки нервно барабанит по прилавку, и поспешно отдернул руку. Тут он почувствовал, что взгляд его беспокойно перебегает из стороны в сторону. Сделав над собой усилие, он повернулся лицом к толпе и, словно человек, которому больше нечем заняться, со скучающим видом принялся разглядывать публику. В этот момент он и заметил девушку.

Сначала он увидел лишь смугло-коричневое пятно. Затем — загорелое юное лицо. Затем — как в бинокле — черты лица стали четко вырисовываться. Лейтенант видел теперь, что девушка очень красива. Такой красивой он, пожалуй, еще и не встречал. Ему показалось, будто девушка тоже смотрит на него, хотя, возможно, он ошибался. Может, она высматривала поезд. А может, и вообще ничего не высматривала. И все же человек даже издали способен почувствовать на себе чей-то взгляд.

— В крайнем случае можно спрятаться под угольными брикетами, — сказала продавщица.

— Спасибо за подсказку, — рассеянно поблагодарил лейтенант.

— А кто половчей, тот ухитряется вскочить на ходу, — не унималась продавщица.

— Особой ловкости тут и не требуется, — заметил лейтенант, не сводя глаз с девушки.

— Тогда действуйте, — откровенно подгоняла его продавщица. — Чего здесь без толку околачиваться?

Он распрощался с продавщицей. Слезы у нее сохли, зато помада некрасиво расплзлась на губах. Лейтенант направился к девушке.

— Куда же вы пошли? — окликнула его продавщица и даже высунулась из окошка. — Вам надо совсем в другую сторону!

Лейтенант заранее присмотрел поставленный на попа ящик у той скамейки, где сидела девушка. Протолкавшись туда, он опрокинул ящик и сел. Краешком глаза он увидел, как у девушки дрогнули руки. На ней были надеты белые кружевные перчатки, и сквозь дырочки темнел загар.

Какое-то время он не решался заговорить. Даже взглянуть на нее и то не решался, и девушка тоже смотрела куда-то в сторону. Их глаза подчинялись некоему внутреннему запрету, словно, встретившись взглядом лишь на мгновение, они могли бы вызвать непредвиденные, роковые события. Молодые люди сидели очень близко, почти вплотную друг к другу: даже острию топора было бы не вклиниться меж ними... Лейтенант раздавил окурочек и закурил снова, но, прежде чем спрятать спички в карман, по привычке встряхнул коробок. Привычный звук словно вернул ему силы; чуть наклонившись к девушке, он едва слышно, как бы про себя произнес:

— Меня зовут Альберт Отт.

Девушка ничего не сказала. Она не шелохнулась, лишь чуть заметным движением подобрала пальцы к ладони. Лейтенант помолчал и немного погодя прибавил:

— Мне ничего от вас не надо, просто поговорите со мной минутку.

Ответа снова не последовало. Лейтенант опять выждал немного. На этот раз заговорить оказалось еще труднее: неудача подорвала в нем остатки самоуверенности.

— Назовите хотя бы ваше имя, — взмолился он.

Птица, готовая вспорхнуть, не меняет положения тела, и все же мы знаем, что вот сейчас она взлетит. Девушка не шелохнулась, но мускулы ее напряглись и изготавились к движению. Лейтенант испугался и быстро заговорил:

— Ни о чем не стану вас спрашивать, только не уходите. Взгляните на меня — хоть раз, и я, честное слово, оставлю вас в покое.

Девушка, заметно поколебавшись, медленно повернула голову и посмотрела на него. Это движение стоило ей таких усилий, точно мраморная статуя возрождалась к жизни, зато лейтенант наконец смог увидеть ее лицо совсем близко.

— Спасибо, — сказал он.

Осенняя пора была в самом разгаре. Стеклянный купол перрона золотило послеполуденное солнце, и каштаны по другую сторону железнодорожных путей тоже облачились в золотой убор. С гор доносились артиллерийская канонада, будто где-то далеко разрывалась и лопалась земля, но сейчас даже пальба не вызывала никакого страха. У лейтенанта пересохло в горле; такой красавицы, как эта девушка, он еще не видал. Смуглая кожа ее светилась в лучах нежаркого солнца и словно сама была сродни этому лучистому солнечному сиянию. Лейтенанту больше ничего не хотелось, только бы сидеть здесь и смотреть на нее. Только бы не кончалось оно, это мгновение.

Но в этот момент толпа, все множившаяся числом и у края перрона сбившаяся в плотную, однородную массу, вдруг подалась в стороны и распалась, давая дорогу вооруженному патрулю. Показались шестеро солдат с примкнутыми штыками; на шее у каждого полукруглая бляха с надписью: «Полевая жандармерия». Возглавлял патруль тощий очкастый прапорщик. Бляхи на нем не было, да и весь его облик не производил воинственного впечатления. Он напо-

минал прыщавого выскочку-школяра, которому хочется отличиться по всем предметам, и именно это тщеславное стремление и было в нем самым опасным. Глаза его непрестанно рыскали. Каждого человека он изучал дважды: сперва мерил его взглядом с головы до ног, а затем, уставившись в упор, всматривался в лицо. Лейтенанта и девушку он засек взглядом сразу же, однако прошел мимо, затерялся в толпе пассажиров и лишь потом повернул в их сторону. На этот раз он подошел и остановился перед ними. Смотрел он на лейтенанта, но документы потребовал у девушки.

— Ваше имя?

— Ведь там все написано, — сказала девушка.

— Извольте отвечать, когда вас спрашивают.

Девушка услышала, как громыхнул спичечный коробок. Она вспыхнула, но жандарму ответила. Чуть отстранившись от лейтенанта, она произнесла:

— Мария Барта.

— Имя матери? — продолжал допрашивать прапорщик.

— Паула Либготт.

— Дата рождения?

— Четвертое августа 1926 года.

— Место последней прописки?

Девушка отвечала, а прапорщик продолжал задавать вопросы. За это время трое из шести патрульных обошли лейтенанта сзади, и теперь уже все семеро как бы кольцом охватили его. Они не приближались и не отдалялись. Вроде бы не смотрели на него, но тем не менее стерегли его взглядами.

— Вы вместе? — спросил прапорщик.

Девушка опять покраснела. Чуть подумав, ответила:

— Нет.

— Но вы же разговаривали, — сказал прапорщик.

Девушка призадумалась.

— Я ни с кем не разговаривала, — заявила она.

— Куда вы едете?

— В Будапешт.

— К кому?



- К своей матери.
- Ваша мать живет в Будапеште?
- Нет, — ответила девушка. — Просто она вместе с моими младшими сестрами уехала туда раньше.
- Какой у нее адрес в Будапеште?
- Таможенная площадь, шесть.
- Вам известен этот дом?
- Я жила там, когда училась в школе.
- Куда выходят окна?
- В сторону Цитадели, — ответила девушка.
- Держите, — прапорщик вернул ей документы.

С лейтенантом он был менее любезен. Обращался к нему в третьем лице. Итак, господин лейтенант не знаком с барышней. Господин лейтенант просто забежал купить сигареты. У господина лейтенанта и в мыслях нет уезжать отсюда. Более того, господин лейтенант направляется на передовую.

Дойдя в своем опросе до этого места, прапорщик подступил на шаг ближе. Лейтенант не видел, но чувствовал, что и цепь патрульных сомкнулась плотнее, словно беря его в клещи.

— Где же находится часть господина лейтенанта? — задал прапорщик следующий вопрос.

— Здесь, — сказал лейтенант.

— Где — здесь? — допытывался прапорщик.

— На Главной площади, — ответил лейтенант. — У памятника.

— Какой памятник стоит на Главной площади?

— Я не слишком присматривался, — сказал лейтенант. — По-моему, это памятник Бему.

— Да, — сказала девушка.

— А вы, пожалуйста, не мешайте господину лейтенанту, — одернул ее прапорщик. — Так где же стоит памятник?

— Перед зданием сберегательной кассы, — сказал лейтенант.

— Да, там, — подтвердила девушка.

— Вас не спрашивают, — отрезал прапорщик. — И чем же там занимаются подчиненные господина лейтенанта?

— Ждут, — ответил лейтенант.

— Чего? — спросил прапорщик. — Утреннего благовеста?

— Приказа выступать, — сказал лейтенант.

— А как далеко отсюда находится этот памятник? — был следующий вопрос жандармского прапорщика.

— В десяти минутах ходьбы, — ответила девушка.

— Да замолчите вы! — цыкнул на нее прапорщик. — Не вас спрашивают.

— В десяти минутах ходьбы, — повторил лейтенант.

— Bravo! — воскликнул прапорщик. — Но только ведь меня на мякине не проведешь. Могу я попросить господина лейтенанта остаться здесь?

— Хорошо, я останусь, — сказал лейтенант.

Прапорщик шепнул что-то одному из своих людей, затем направился к выходу. Девушка оглянулась по сторонам и, не увидев поблизости патрульных, с облегчением вздохнула.

— Ушли?

Лейтенант даже не стал оглядываться по сторонам.

— Ушли, — ответил он.

— Что это был за чин? Унтер-офицер?

— Прапорщик, — сказал лейтенант.

— А к чему он приплел какую-то мякину?

— Он пошутил, — улыбнулся лейтенант.

— Разве ему дозволено с вами шутить?

— Ему все дозволено, на то он и полевой жандарм, — сказал лейтенант.

— И можно шутить даже с лейтенантом?

— А хоть бы и с полковником, — сказал лейтенант. — Вас в семье зовут Марией или каким-то уменьшительным именем?

— Так и зовут Марией, — сказала девушка. — А они и вправду ушли?

Лейтенант сделал вид, будто внимательно осматривается по сторонам. Медно-красные перья на жандармских шляпах то тут, то там выныривали из толпы, неотступно кружа около того места, где сидели молодые люди.

— Точно, — сказал он. — Вы испугались?

— Мне было страшно за вас.

- Очень страшно?
- Немножко страшно, — сказала девушка.
- Неужели вам было не очень страшно за меня? — настаивал лейтенант.
- Очень, — призналась девушка.
- И мне было очень страшно за вас, — сказал лейтенант. — Очень, очень, очень.
- Они помолчали. В руках у лейтенанта громыхнул спичечный коробок. Лейтенант закурил.
- Как много вы курите, — обеспокоенно заметила девушка. — А я думала, вы дезертир.
- Где вы так чудесно загорели? — поинтересовался лейтенант.
- У нас здесь своя купальня, — сказала девушка. — И вы уедете на фронт?
- Да, — сказал лейтенант. — Вы когда-нибудь были влюблены?
- В своего жениха, — ответила девушка. — Не дай бог с вами что-нибудь случится!
- Кто он был, ваш жених? — спросил лейтенант.
- Сын аптекаря, — сказала девушка. — Я не пущу вас на фронт.
- Вы порвали с ним? — спросил лейтенант.
- Он женился на другой.
- Почему? — спросил лейтенант.
- Купальня у нас убогая — одно название, — пояснила девушка. — Всего-навсего двенадцать кабинок для переодевания да бассейн сплошь в трещинах, зачастую там и воды даже не бывает. Многие туда вовсе и не купаться ходят.
- А зачем же?
- За другим совсем, — сказала девушка и покраснела. — Весь город только и следит, кто с кем на пляж ходит. «Ходить на пляж» у нас означает... Понятно?
- Понятно.
- Меня не очень хорошо приняли в семье аптекаря. А потом стали поговаривать, что где уж, мол, сохранить чистоту тем, кто купальню обслуживает... Только это все неправда. Вы мне верите?
- Верю, — сказал лейтенант.

— Может, они просто выискивали предлог, чтобы подобрать сыну невесту побогаче, — сказала девушка и затем вдруг добавила: — Господи, а почему бы вам не сесть в поезд вместе со мной?

— Потому что нельзя, — ответил лейтенант. — Вы любили его?

В коробке громыхнули спички. Лейтенант закурил. Девушка осуждающе смотрела на зажженную сигарету.

— Наверное, любила не всем сердцем, — произнесла она наконец. — Да и ему от меня только одно нужно было: на пляж сходить — другого у него и в мыслях не было... Но я смогла бы принадлежать лишь тому, кого полюблю всей душой и кого назову своим мужем. Вы мне верите?

— Верю, — сказал лейтенант.

— Хочь сначала мальчика, а потом девочку. И ничего страшного, если родятся самые обычные, рядные детишки. Зато потом пусть родится еще один мальчик, но обязательно в чем-нибудь одаренный.

— В чем же именно?

От старых каштанов упала тень. Девушка, зябко вздрогнув, смотрела на опавшую листву, золотистый оттенок которой теперь отливал багрянцем.

— Этого я еще не решила. Лучше, если у него будет талант к музыке, к игре на каком-нибудь инструменте, скажем, на скрипке, или же к пению... Вам что больше нравится?

— Пожалуй, скрипка, — сказал лейтенант.

Девушка задумалась.

— Теперь я тоже к этому склонна, — наконец сказала она. — А я сопровождала бы его на гастроли по всем странам, сидела бы на концерте где-нибудь в последнем ряду и аплодировала вместе со всеми. И ни одна живая душа не знала бы, что в зале находится его мать. Даже и он сам не знал бы.

— Даже он? — изумился лейтенант. — Но почему же?

— Затрудняюсь объяснить. Наверное, чтобы он не волновался. Я, например, перед мамой даже раздеваться стесняюсь.

— И как же вы собираетесь это устроить?

— Понятия не имею. Пожалуй, я ездила бы за ним тайно. И всегда приезжала бы на день позже, когда в газетах уже будут его фотографии.

— Странная вы девушка, — задумчиво проговорил лейтенант. — Вам хотелось бы путешествовать?

— Очень.

— И куда бы вы ездили?

— Куда? Да везде и всюду!

Она облегченно, чуть ли не весело вздохнула.

— Война скоро кончится, и тогда весь мир будет открыт. Путешествуй сколько душе угодно, все равно войне больше не бывать.

— Почему это? — спросил лейтенант.

— Да потому, что войны ведутся из-за границ, а теперь границ больше не станет. А раз не будет границ, то и воевать не из-за чего.

— Вы так думаете? — медленно произнес лейтенант.

— А вы разве думаете иначе? — Девушка смотрела на него округлившимися глазами.

— Нет, я тоже так считаю, — после недолгого раздумья сказал лейтенант и отвернулся, потому что физиономия одного из жандармов мелькнула вдруг совсем близко. В руке у лейтенанта громыхнули спички.

А девушка заговорила о том, что и как будет после того, как кончится война. Как тихо станет здесь, на станции. С какой точностью станут ходить поезда. Какой мирный покой воцарится в горах, где сейчас гремят пушки. А затем спросила:

— Ну а у вас какое заветное желание?

— У меня? — задумался лейтенант. — Не так уж много мне и надо.

— Знаю, — улыбнулась девушка. — Для вас главное — сигареты.

— Пожалуй, — согласился лейтенант.

— Что в них хорошего?

— До сих пор я как-то над этим не задумывался.

— Ну а теперь советую подумать, — сказала девушка.

Лейтенант сделал глубокую затяжку и задумался.

— К примеру, хорошо, что они всегда под рукой.  
— А еще?  
— И свободно умещаются в кармане.  
— А еще?  
— А еще они хороши тем, что с ними хорошо.  
— Надо же до такой премудрости додуматься! — улыбнулась девушка.  
— Попробуй додумайся, — тихо улыбнулся и лейтенант. — Вам не понять, что это и в самом деле величайшая премудрость. Ведь можно жить и по-другому, не так, как живете вы... Когда у человека нет никого и ничего. Когда все время кажется: вот-вот конец. Еще пять минут, или десять, или четверть часа... И тогда можно закурить, бросить окурочек, закурить снова — чтобы каждую минуту, покуда жив, тебе выпадало что-нибудь приятное.

Он умолк. Девушка тоже молчала. И вдруг бросила на него колющий взгляд.

— Но ведь теперь у вас есть кое-кто, — сказала она.

- Теперь — есть.
- Значит, и в этой гадости нужда отпала.
- Тоже верно.
- Тогда извольте отдать мне ваши сигареты.

Она вывернула у него все карманы. Сгребла пачки в охапку и отдала их толстой цыганке, которая сидела неподалеку на огромном узле с пожитками. Возвратясь к лейтенанту, девушка смерила его взглядом.

- Эту тоже погасите.

Он сделал еще одну затяжку и затоптал недокуренную сигарету.

- Вам не будет без них плохо?
- Нет.
- Стою я одной сигареты?
- Вы стоите в миллион раз больше.

Они сидели и молчали. Тишина в них стала такой глубокой, точно они высказали друг другу все. Молчать было очень приятно. У обоих не было никаких других желаний, только бы сидеть так вечно, до самого конца войны. И вдруг эту хрупкую тишину нарушило какое-то жужжание. Вернее, даже и не

жужжание, а какой-то едва уловимый ритмичный шум, точно капала вода. Толпа замерла, притихла, внимательно прислушиваясь, а когда стук колес стал отчетливо различим, внезапно всколыхнулась. Лейтенанта и девушку тоже подхватил этот общий порыв, поднял и повлек к поезду; они сразу потеряли друг друга. Лейтенант попытался было пробиться к девушке, но не увидел ее в толпе. Сетки с провизией плыли по воздуху, дети визжали, путаясь под ногами у взрослых, мелкие камешки на путях разлетались, взметаемые бегущей толпой; и эту плотную человеческую ткань, подобно узору крестом, то тут, то там прошивали рыже-красные жандармские перья.

Наконец он отыскал девушку. Высунувшись из окна поезда, она махала ему рукой.

— Подойдите поближе, — сказала она, когда он пробился к ней.

Он приблизился к самому окну.

— Не вас ищут эти солдаты? — шепотом спросила девушка.

Он сказал, что нет.

— Тогда почему бы вам не уехать вместе со мной?

— Потому что нельзя, — сказал он.

— Вы непременно должны вернуться на фронт?

Он сказал, что да.

— А нельзя придумать какой-нибудь предлог? — спросила девушка.

— Какой предлог? — спросил он.

Девушка задумалась. Вдруг лицо ее просияло.

— Нельзя ли, например, взять отпуск? — спросила она.

— Можно попробовать, — сказал лейтенант.

Раздался свисток. Состав дрогнул и пополз с черепашьей скоростью.

— Вот видите! — сказала девушка. — И от кого это зависит?

— От моего командира.

— Он подписывает приказ?

— Нет, — сказал лейтенант. — Подписать должен командир полка.

Он медленно шел вровень с поездом. Вместе с толпой провожающих, с машущими вслед поезду ребятишками, с грудастыми всхлипывающими старухами, с плывущими в прощальном взмахе платками, с ржаво-красными петушиными перьями.

— А он подпишет?

— Не знаю, — сказал лейтенант. Теперь ему приходилось почти бежать. — Это не только от него зависит.

— А от кого еще?

— От нашего генерала.

— Он очень строгий?

— Нет, не очень, — сказал лейтенант.

— Тогда, значит, он подпишет, — крикнула девушка.

— Вероятно, подпишет, — крикнул лейтенант.

— Почему — вероятно? — прокричала девушка.

— Почти наверняка подпишет, — прокричал лейтенант.

Поезд ушел.

Лейтенант остановился. Тяжело дыша, он махал рукой вслед. Махал до тех пор, пока загорелое лицо девушки не скрылось из виду. Он различал лишь ее руку, единственную золотисто-смуглую руку среди множества серых рук. Затем и рука пропала. Лейтенанту захотелось курить, он полез в карман, по привычке встряхнул коробок. Но сигарет ни одной не было.

## ДЕТСКАЯ ИГРА

Снаружи, за двойным оконным стеклом, клубилось нечто серое. Невозможно было понять, дым ли, облако ли этот бесформенный, местами редющий, местами плотный, как стена, волнистый и вихрящийся туман, куда нырнул самолет. И когда он, казалось, безнадежно заблудился в складках воздушной завесы, распахнулась дверца пилотской кабины, и по кокосовой дорожке вдоль салона прошел второй пилот, вручая каждому пассажиру памятку: сводку номер четыре. Согласно информации, само-



лет — выдерживая заданную скорость и высоту, — находился в данный момент на пересечении 37,04 градуса долготы и 45,31 градуса широты, в 450 морских милях к западу от Азорских островов. В рубрике «погода» стояло следующее: «сильный северо-восточный ветер, густая облачность, на высоте ниже четырехсот метров — дождь». Направление полета: запад-северо-запад.

— Хочу пить, — заявил Пети.

Марика и ухом не повела. Пети всегда хотел пить, как пересохшая земля. И если бы только пить! Но Пети все время чего-нибудь да хотел: воды, абрикосовых косточек, газетной бумаги, французский ключ или серьги у Марики из ушей — что бы ни попало ему на глаза, он тотчас же начинал клянчить, гнусно, настырно, как только умеют маленькие дети, желающие завладеть всем на свете. Если бы у людской нужды был голос, то он наверняка был бы похож на голос Пети: такой же неумолчный и ненасытный.

— Не дашь воды?

— Нет.

— Дасюда бумажку.

— Нет.

«Дасюда» означало «дай сюда», а под бумажкой надо было понимать сводку пилота, которую Марика успела засунуть в плетеную из осоки сумку. Она складывала туда все, что давали в дороге: багажную квитанцию, медицинское свидетельство, цветные проспекты и тому подобное. С добросовестностью завязатого археолога Марика подбирала все вплоть до разных обрывков и мусора, вечно раскиданных вокруг Пети: братишка магнитом притягивал к себе всякую нужную и ненужную мелочь, но тотчас же и разбрасывал.

— Ой! — пискнул Пети. (Самолет сильно подбросило, затем еще и еще раз более резко.) — Падаем мы, что ли?

— Нет, не падаем.

Самолет прокладывал себе в воздухе путь с таким же трудом, как плуг в вязкой глине. А уж если попадает в круговерть воздушных течений, тогда чувствительным пассажирам просто беда: бледные

как смерть, они склоняются над гигиеническими бумажными пакетами. Вроде дамы в шляпке с пером — той, что сидит на седьмом месте.

— Ух ты! — удивился Пети. — А тетеньку-то рвет.

— У нее морская болезнь, — пояснила Марика.

Вчера, когда они вылетали из Парижа, эта дама засыпала их кучей вопросов, на которые дети, естественно, не могли ответить. Добрая тетенька долго смотрела на них, а потом принесла им целую плитку шоколада. И вот теперь ее тошнило.

— А я знаю, мы сейчас свалимся, — деловито сообщил Пети. — Сперва нырнем под воду, на самое дно моря, и тогда станет совсем темно. А потом самолет всплывет, и можно будет открыть окно. Как оно открывается?

Поднявшись с места, он принялся старательно ковырять ногтем резиновую прокладку оконной рамы.

— Открой окно, — пристал он к Марике. Но та не обращала на него ни малейшего внимания, привлеченная каким-то приятным запахом: возле дамы в шляпке стояла стюардесса и капала лекарство на кусочек сахара. Этот приятный запах шел от лекарства.

— Сейчас ей дадут сахару, — объявил Пети.

Конечно, он сразу добавил, что тоже хочет сахару, но лучше не с лекарством, а с резинкой, тогда его можно жевать хоть целый день... Жевательной резинкой его угостил пилот, еще вчера, когда их путешествие только начиналось на будапештском аэродроме; Пети зашелся таким истошным воплем, что окружающие не на шутку испугались, как бы он не лопнул. В огромном аэропорту и без того поднялся переполох с той самой минуты, как сестры Гортензия и Магдалина ввели в зал детишек Лупша. Полицейский бросил свой пост, пассажиры прервали церемонию прощания, а таможенник, не глядя, рылся в чьем-то раскрытом бауле, не в силах отвести взгляд от двух малышек. Распахнув широкую стеклянную дверь, вошел ремонтный рабочий, который нес на склад четыре надутых резиновых камеры. Свалив на пол свою ношу, он удивленно воззрился на детей.

— Куда это вы собрались?

— В Америку, — сказала Марика.

— На кой ляд? — поинтересовался рабочий; комбинезон на нем задубел от машинного масла. — Чего вы забыли в этой Америке?

Сестра Гортензия прижала к себе детей.

— Не вступай в разговор с незнакомыми людьми, золотко мое... А вы оставьте в покое несчастных сироток... В Нью-Йорк они едут, к дедушке. Он их вырастит.

— Двух-то сирот небось и тут можно бы вырастить, — буркнул рабочий, сгребая в охапку резиновые камеры.

— Я же объясняю, что их берет к себе родной дедушка.

Рабочий пожал плечами.

— Засолить бы этого дедушку! — хмуро проворчал он и пошел прочь, а дойдя до середины зала, обернулся и посмотрел на Пети, который немедля заревел. Должно быть, испугался, как бы дедушку и в самом деле не засолили, ведь дети, как правило, все слова взрослых понимают буквально.

Дети спустились по лестнице, вышли на бетонную дорожку, взобрались по трапу в самолет. Все было готово к отлету: с грохотом захлопнулась дверца, бешено завертелись пропеллеры, однако рев Пети перекрывал весь этот оглушительный шум. Тогда-то и вынес ему пилот жевательную резинку, Пети сунул ее в рот и замолк. Посмотрел на Марикку и жестко, беспощадно потребовал:

— Дасюда красилки.

«Красилки» — набор из двадцати четырех цветных карандашей, сестра Гортензия еще в зале аэропорта вручила детям в подарок, и Марика тотчас же спрятала их в свою плетеную сумку. Сейчас, когда Пети упомянул полученную им в Будапеште жевательную резинку, Марика сразу же вспомнила про карандаши. И действительно, Пети в ту же минуту обратился к ней:

— Дасюда красилки, — проканючил он, поскольку тоже пришел к этой мысли, следуя по цепочке ассоциаций.

Марика, стиснув зубы, молчала, твердо решив про себя, что карандаши она ни за что не отдаст Пети, несмотря на все напутствия сестры Гортензии. Ведь именно она, Марика, в свое время делала намеки сестре Гортензии, что ей, мол, желательно получить от Деда Мороза цветные карандаши. Сестра Гортензия не обмолвилась ни словом, но Марика почувствовала, что ее пожелание не будет забыто. Так оно и вышло. Только в аэропорту, вытаскивая коробку с карандашами из бездонного кармана своей сборчатой юбки, монахиня от волнения вместо Марики погладила по голове Пети. «Птенчик мой ненаглядный! — всхлипывая произнесла она. — Сиротинушка ты моя бедная!» — и сунула карандаши мальчику. Марика выхватила у братишки заветную коробку и проворно засунула ее на самое дно сумки. Сестра Гортензия промолчала, но Пети с тех пор упрямо требует вернуть карандаши. Если он не говорит этого, то сердито пыхтит, бурчит что-то себе под нос или, перегнувшись через подлокотник, висит вниз головой, вызывая полное смятение среди пассажиров. Прибегает стюардесса с апельсином, бананом или стаканом воды с малиновым сиропом и начинает допытываться, что стряслось с малышом. Марика знает, что означают эти фокусы Пети, но уж она-то не скажет.

Пети канючил, не унимаясь.

— Ну скоро мы прилетим в Америку?

— В пять часов, — ответила Марика.

— Когда будет пять часов?

Марика пояснила, как могла, сказав, что пять часов бывает в пять часов точно так же, как полдень бывает в полдень, а Рождество на Рождество. С таким объяснением Пети примирился, он только хотел уточнить. Пять часов — это когда все-все часы на свете показывают цифру пять? И на бульваре Дюрера у сестер-монахинь, и здесь, в самолете, и у той тетеньки в шляпе с пером, и у дедушки в Америке? А у дедушки есть часы?

— Есть, — сказала Марика.

— А борода у него есть?

— Не знаю.

Хорошо бы, у него была борода, подумал Пети. Да, просто здорово, если бы у дедушки была борода и ружье и если бы он повел Пети в кино... Они могли бы отправиться в кино прямо сегодня вечером, размечтался мальчуган, и он, Пети, держал бы ружье, зажав между колен, как держал он отцовское ружье, когда отец навевывался домой. А ведь в ту пору он был совсем маленький, но когда отец приходил домой, на улицу Петерди, он давал Пети ружье, и тот стерег его, пока отец ел.

— Взгляни, а у тетеньки с вуалью тоже есть?

— Что именно?

— Да часы!

Марике не нравилось, что Пети все время упоминает в разговоре «тетеньку с вуалью». Дама эта — шведка по происхождению, совершавшая перелет из Америки в Париж только ради того, чтобы заказать себе несколько вечерних платьев и костюмов, — сидела по другую сторону прохода. Марика иногда украдкой взглядывала на нее, но стоило даме перехватить этот робкий взгляд, как девочка испуганно отводила глаза.

Утром, когда все пассажиры спали, эта сказочно прекрасная дама, встав с места, печально посмотрела на Марику и погладила ее по голове. Марика этого, покуда жива, не забудет. Дама обворожила девочку, поэтому Марика не могла стерпеть, что Пети небрежно упоминает ее. У нее было такое чувство, что достаточно Пети посмотреть на белокурую красавицу или произнести ее имя, и это принизит ее совершенство.

— Давай поиграем!

— Нет.

— Немножко поиграем, а потом поедим.

— Ты только что ел.

Сестры-монахини дали им в дорогу жареного цыпленка и большой яблочный пирог в коробке из-под обуви. Этими припасами они и пробавлялись до сих пор, а все, что приносила стюардесса, Марика не глядя сгребала в плетеную сумку. От пирога оставалась еще половина.

— Давай играть в пожарных.

— Нельзя.

В пожарных они играли вчера, перед тем как прибыть в Прагу. За час полета они успели полностью освоиться в самолете, общарили каждый закуток и заскучали. А от скуки затеяли игру в пожарных. Но в эту игру в самолете играть не рекомендуется, поскольку звуки сирены вызывают среди пассажиров беспокойство. Хотя игра заключается вовсе не в том, чтобы поджечь самолет; иначе это была бы не игра, а все, как по правде. Настоящая игра — это фантазия. Начинается с того, что впереди, у пилотской кабины, вспыхивают языки пламени — дома, на улице Петерди, пожар начался в кухне, под плитой, — и игра состоит в том, что они, дети, пытаются этот воображаемый огонь потушить... Задуть, загасить одеялом или мокрой тряпкой, в точности, как на улице Петерди после бомбежки «зажигалками». Воображаемый огонь становится невыносимее из-за едкого, удушливого, всепроникающего дыма. Приходится завязывать нос и рот платком, зажимать руками слезящиеся глаза и, отступая шаг за шагом, бороться за каждую спинку кресла, за каждую пядь земли, пока не упрешься в кухонный отсек или в самый конец пассажирского салона. Однако тут пассажиры переполошились, а дама в шляпе с пером завизжала. Вот почему в пожарных играть не годится.

Воздушные потоки за бортом самолета завихрились сильнее. Даме в шляпе с пером вновь сделалось дурно. Стюардесса заметалась по салону и наконец привела какого-то пассажира; склонившись к даме, он через резиновую трубочку прослушал у нее сердце. Пети заворуженно следил, как тот достает сверкающий шприц, отламывает головку ампулы и втыкает тонкую иглу под дряблую кожу...

— Прививка! — восторженно воскликнул Пети. — Скажи ему, что я тоже хочу...

— Не будет он делать тебе прививку!

— Скажи ему! Или дасюда красилки.

Марика не могла бы этого сказать даже при всем своем желании. Она умела объясняться лишь в той степени, в какой ее обучили сестры-монахини. Если тебе дадут что-нибудь, поклонись; благодарю, мол. Если к тебе обратятся, назови себя: Мария Лупша.

А если спросят о чем-нибудь, скажи: Михай Лупша, Нью-Йорк Сити. Ну а если забудешь, то здесь, на бумажке, написан адрес. Впрочем, бабушка встретит вас в аэропорту...

Петя непоседливо ерзал на сиденье.

— Фу, какая вредина! — сказал он. — Тогда давай играть в пьяного.

— Надоело, — отмахнулась Марика.

— Ладно, давай в чего-нибудь другое. В «Как мама умирает».

Марика согласно кивнула. Пожалуй, в эту игру можно... К тому же ей самой там почти нечего делать, поскольку маму играет не она, а Петя. Мама была маленькая, щуплая, тощая, восьмилетняя дочка успела перерасти ее... Потому роль мамы досталась Петю. И вообще Петю нравилось умирать понарошку, и при игре в пожарных он мучился от удушья гораздо дольше, чем Марика или Шани. (Шани — сын тетушки Деметер с улицы Петерди, был его приятелем.)

— Достань хлеб. И принеси нож, вон из того ящика. Ну ступай же...

Нож требовался для того, чтобы разделить хлеб на части. У Марики был складной ножичек с костяной ручкой, но его отобрала сестра Гортензия. «Бабушка тебе новый купит, — сказала она Марике. — Билеты, видишь, какие дорогие, а бабушка не поскупился, да еще и двадцать долларов прислал...» Доллары сестра Гортензия зашила в холщовый мешочек и повесила Марике на шею. Они и сейчас болтаются на шее вместе с крестиком, эти двадцать долларов.

— Не пойдешь?

— Иду, — сказала Марика.

Она знала, что по пути к кухонному отсеку и обратно ей предстоит дважды пройти мимо двадцатого места, где сидит прекрасная фея под вуалью; девочка собрала всю силу воли, чтобы не смотреть в ее сторону... Марика вошла в кухонный отсек, взяла кусок хлеба, вытащила из ящика нож и повернула обратно.

Самые дальние места занимала пара молодоженов, затем толстяк-доктор, восседавший среди разбросанных в беспорядке газет, а впереди доктора —

она, белокурая красавица... Марика, потупив глаза, вознамерилась прошмыгнуть мимо, но дама обняла ее за талию, посадила к себе на колени и что-то спросила. Лицо ее, полускрытое вуалью, казалось воплощением грез. «Мария Лупша», — сказала девочка. Дама продолжала о чем-то допытываться, скороговоркой засыпая ее вопросами. «Нью-Йорк Сити», — добавила Марика.

Голубоглазая красавица умолкла и, положив руки на плечи девочки, какое-то время без слов разглядывала ее. Марика была некрасивой. Черные, жесткие, как проволока, волосы росли низко надо лбом, темные глазенки узкие, недоверчивые, холодные. Зубы неровные, со щербинками, кожа лица бледная, сероватая. Стоило человеку взглянуть на Марику, и вмиг улетучивалась та умиленность, что возникала при виде румяного, пухленького Пети. Тот, чей взгляд падал на Марику, испытывал чувство вины и беспричинного смущения; тут уж было не до улыбки, человек сразу становился серьезен. Должно быть, в порыве такого чувства вины дама внезапно откинула вуаль и поцеловала Марику. Затем вуаль вновь опустилась, и Марика пошла дальше. Дама в шляпе с пером, которой не так давно сделали прививку, неудобно свесив голову, забылась беспокойным сном; следующие места были их собственные. И тут Марика вздрогнула: Пети не было на месте.

Первым ее побуждением было метнуться к плетеной сумке, поскольку там хранились карандаши, но в этот момент появился Пети.

— Где ты был?

— Писать ходил.

«Карандаши!» — тревожно думала Марика. Но сумка стояла на месте, и лучше бы не рыться в ней при Пети. Марика побаивалась братца, зная его коварную, вороватую натуру. Карандаши не давали ей покоя. Глядя на невинную, пухлощекую физиономию Пети, она припомнила долгие ночи в подвале дома на улице Петерди, когда Пети осторожно сползал с постели, чтобы не разбудить маму, и на четвереньках полз туда, где располагались Деметеры. Запрятав в уголок тюфяка, набитого соломой, Деме-



теры пуще глаза берегли свое единственное сокровище: мешочек сахара.

Это происходило в последние недели осады, когда обитатели подвала вынуждены были пробавляться одним липовым взваром. Все кругом спали, только Марика время от времени просыпалась от голода; иногда она видела, как Пети, плюхнувшись на пол, проползает под нарами и крадет сахар. Брал он по-хитрому — всего полпригоршни, — чтобы кражу не сразу можно было обнаружить. «Рано или поздно попадетсЯ мне этот вшивый ублюдок, и уж тогда я ему напрочь зенки повыцарапаю!» — клялась по утрам тетушка Деметер. Пети в это время с задумчивым и кротким видом восседал на горшке, голубые глаза его сияли младенческой чистотой; он молча ждал, пока мама снимет его с горшка, ведь ходить Пети еще не умел, ему было всего полтора годика.

— Марика, перевяжи мне голову.

Откинув спинку сиденья, он улегся навзничь. Марика достала вязаный шарф, обмотала голову Пети и завязала шарф узлом у него под подбородком.

— Разбудишь меня, — наставлял ее Пети. — Но не сразу, а только когда начну сопеть.

Он свернулся клубочком на сиденье, подтянув к животу колени, как человек, которому зябко. Марика сидела, ожидая условного знака — сопения братца. Безмолвно смотрела она за окно, на сплошную массу неизменных и все же постоянно меняющихся облаков. Скоро покажется Нью-Йорк Сити.

Пети подал знак: засопел судорожно и прерывисто. Марика, чуть выждав, повернулась к нему и встряхнула за плечи. Пети не шелохнулся. Марика снова встряхнула его, затем неуверенно окликнула:

— Тетушка Лупша...

Пети не двигался.

— Вы слышите меня, душенька? Это я...

Пети, дернувшись, открыл глаза.

— Что с вами, милая? Уж не расхворались ли вы?

Пети, недвижно застыв, вновь погрузился в сон. Марика громче воззвала к нему:

— Тетушка Лупша, да что с вами стряслось? Ох, соседка, голубушка, подойдите-ка сюда... Гляньте, что за напасть с ней приключилась!

Тетушка Деметер, естественно, подойти не могла. Шани, который обычно исполнял роль собственной матери, находился сейчас далеко. Поэтому Марика, попросту проскочив роль Шани Деметера, продолжала свою.

— Очнитесь, душенька! — пыталась она привести в чувство Пети. — Ранами Христовыми вас заклиная, очнитесь!

Пети громко застонал, схватившись за живот.

— Ай! — вскрикнул он.

Дама в шляпке, вздрогнув, открыла глаза и уставилась на Пети.

— Да ведь это я! Не узнаете меня, голубушка?

Пети повернулся к Марике, посмотрел на нее и непослушным языком пролепетал:

— Это ты, Шандор?

— Нет, не Шандор! Неужто не узнаете меня, милая? Меня зовут Киш, я живу здесь рядом, на улице Бетлена. Соберитесь с силами, голубушка...

— Шандор! Где же ты, Шандор?

— Шандор сейчас придет, я только что видела его на углу. Не беспокойтесь, милая, муж ваш вернется с минуты на минуту.

Это была неправда. Тетушка Киш просто выдумала успокоения ради. Ведь всем было известно, что папа вот уже две недели как погиб, один раненый сапер принес эту весть: ефрейтора Шандора Лупшу застрелили на бульваре Олас. Пулей ему пробило шею, и он истек кровью.

— Взгляните, что я вам принесла! Приподнимитесь-ка, присядьте, милая!

Марика бережно подхватила братца под спину. Пети вздрогнул всем телом и захрипел.

— Шандор, — простонал он, — что ты со мной делаешь, Шандор?

Старуха в шляпке с пером, стряхнув сон, выпрямилась на сиденье; в ушах, на пальцах и на шее у нее ослепительно сверкнули бриллианты. Врач, сидевший в конце салона, отложил в сторону кроссворды, надел другие очки и подошел к старой даме. Они перемолвились парой фраз, и, конечно же, речь зашла о детях, игра которых становилась все более

шумной и непонятной. О том, что дети играют, догадался лишь врач; дама решила, что мальчику сделалось дурно, однако доктор успокоил ее. И все же он не стал возвращаться на место, а остановившись в проходе, наблюдал за детьми.

А дети не обращали на него ни малейшего внимания, они уже привыкли к любопытным, изучающим взглядам. Первые час-два их несколько смущал всеобщий интерес, необычное сочувствие, неожиданная ласковость посторонних, но затем они сочли это в порядке вещей — наподобие откидных спинок кресел и гула пропеллеров — и стали играть ничуть не стесняясь.

— Взгляните-ка, милая, что я вам принесла! Это хлеб. У нас самих хлеба в обрез, муж мой сейчас ничего не зарабатывает, но я слышала, какая у вас беда.

— Ой, худо мне...

— Вы очень ослабли. Съешьте хоть кусочек хлеба.

Пети посмотрел на хлеб. Похоже, его замутило; он снова подтянул к животу колени и икнул.

— Лучше детям дайте. Петти, Марика, где вы?.. Разрежьте пополам и дайте им.

— Надо, чтобы вы тоже поели.

— Не могу. Язва у меня... Ой!

И Петти в голос застонал, заохал, как тяжело больной человек, которого уже не сдерживают никакие правила приличия. Пассажиры беспокойно задвигались. Из кухонного отсека выскочила стюардесса, и даже молодожены вышли из конца салона, где они до сих пор сидели безвылазно, молча прижимаясь и лапая друг к другу. Все пассажиры, повставав со своих мест, столпились вокруг детей, наблюдая за ними.

— Должны же вы поесть, голубушка. Если ни крошки в рот не брать, совсем ослабеешь. Ранами Господними вас заклинаю.

Марика смолкла. Петти лежал навзничь, вытянувшись всем телом, затем судорожно дернулся, как пружина. Марика держала хлеб у его губ. Пассажиры замерли, окаменев. Молодой супруг, подойдя

к доктору, представился, доктор тоже назвал свое имя. Оба раскланялись. «Что здесь происходит?» — спросил молодожен. «Дети играют», — хмуро уставясь перед собой, пояснил врач. «Что это за игра?» — «Этого я не знаю», — сказал врач. Он сунул палец за ворот, словно тугой воротничок душил его.

— Съешьте хоть кусочек, милая.

— Не могу, душа не принимает.

— Подумайте о детях!

— Все равно не могу.

— Надо пересилить себя, милая. Ну хоть кусочек.

Пети застонал.

— Отдайте детям. Марика, Пети, где вы? Они вторую неделю хлеба не видят.

— Ладно, — кивнула «соседка». — И Марике дам, и Петике, но только если вы тоже хоть кусочек съедите.

— Не могу, родная. Мне все одно помирать.

— Надо поесть, душенька, непременно надо...

Схватив нож, Марика разрежала хлеб на три равные части, как некогда соседка Киш upravилась большим кухонным ножом. Затем разложила три кусочка на ладони, прикидывая, не обделила ли она кого. Два кусочка оставила на столе, а третий сунула в руку Пети. Оставшиеся крошки трогательно смела в горсть и высыпала в рот.

Пети судорожно схватил хлеб, ощупывал, мял его, потом сунул в рот. Пассажиры растерянно смотрели на мальчика, не понимая, отчего он с такой жадностью, судорожно глотает пустой хлеб.

— Сил нет на это смотреть, — сказала старая дама в шляпке с пером и отвернулась.

А между тем игра — в блестящем исполнении Пети — начиналась лишь сейчас. Мальчику не просто нравилось разыгрывать сцену смерти, но он и продлевал это со знанием дела, растягивая агонию дольше, чем та длилась у несчастной матери. Марика теперь фактически была не нужна; она просто сидела рядом, иногда заламывая руки, или чуть всхлипывала — для отвода глаз, потому что ей надоело в сотый раз смотреть, как Пети умирает.

Дети часто играли в эту игру, и Марика согласилась сейчас лишь оттого, что ее беспокоила судьба цветных карандашей. Она надеялась, что поглощенный игрой Пети не вспомнит о карандашах.

Молодожен обхватил за плечи свою юную супругу, словно стремясь уберечь ее бог весть от чего. «Что они проделывают с этим хлебом?» — спросил он. «Кошмар какой-то!» — пробормотал доктор. У него было два сына, поэтому он немного понимал детский язык.

Распахнулась дверь пилотской кабины, и возникший на пороге второй пилот объявил, что самолет прибывает в Нью-Йорк... Пассажиры зашевелились было, но затем вновь замерли в прежнем положении. Самолет, кренясь на крыло, плавными кругами стал заходить на посадку. Пети разжал и выпрямил пальцы, затем снова стиснул их в кулак, он метался, хрипел, бился головой о поручни, плакал.

Блондинка в вуали тоже присоединилась к кучке зрителей. Ресницы ее испуганно вздрагивали, прекрасные глаза взволнованно блестели. «Кто они?» — спросила она у молодоженов. «По-моему, чехи», — пожал плечами муж. Стюардесса подошла к нему и, понизив голос, прошептала на ухо: «Не чехи они, а венгры...»

— Они из Венгрии, — сообщил окружающим мужчина и взял жену под руку. — Это где-то в тех же краях, — с уверенностью добавил он.

Ни молодожен, ни врач не знали никаких других подробностей кроме того, что дети — венгры, что они одни, без взрослых летят в Америку, что они не пьют какао, а игры их, судя по всему, непостижимы...

Туман снаружи сделался плотнее, стал более влажным. По стеклу иллюминаторов заскользили дождевые капли. Игра Пети приближалась к концу, теперь он только молча метался в кресле; остатки хлеба затолкал в рот, затем икнул, расплевывая в стороны мокрые крошки... Далее должны были последовать стоны, вскрик, и наступал конец. От Марики требовалось склониться к недвижному телу,

расстегнуть рубашку и воскликнуть: «Тетушка Лупша! Господи, да она умерла!..» — после чего издать пронзительный вопль.

Пети не шевелился. Марика расстегнула на нем рубашку; она хотела вскрикнуть, но у нее перехватило горло. Из-за пояса штанов на голом животе Пети вытарчивал уголок коробки. Карандаши!.. Марика протянула руку, но Пети и на сей раз оказался проворнее; изо всей силы оттолкнув Марику, он схватил со стола нож и выставил его острием вперед.

Вывернув руку мальчика, доктор отнял у него нож, а затем еще долго молча сжимал эту детскую руку. К нему подошла Марика.

— Мария Лупша, — чинно представилась она и указала на Пети: — Он забрал мои карандаши.

Толстяк-доктор недоуменно воззрился на нее; сунув палец за ворот, он высвободил кадык. Марика обождала немного и двинулась дальше, пробираясь сквозь толпу пассажиров в поисках белокурой красавицы, которая поцеловала ее. Девочка и ей пожаловалась на брата, но дама в вуали тоже ничего не ответила и даже чуточку отстранилась, попятилась, пытаясь скрыться в толпе. В ее широко открытых глазах стояли слезы.

Гул моторов внезапно стих, самолет заскользил над посадочной полосой. Пассажиры, однако, оставались там, где были, — на почтительном расстоянии от Марики, недоуменные и растерянные. Голубоглазая красавица достала носовой платок и, сунув его под вуаль, осушила слезы. Это не укрылось от внимания Пети.

— Марика, — поинтересовался он. — Чего это она ревет?

Впрочем, на свой вопрос он и не ждал ответа. Ему не терпелось поскорей увидеть Америку, дедушку Михая Лупшу и дома, которые, говорят, тут растут до неба... Самолет подпрыгнул и вперевалку побежал по бетонной полосе.

Марика схватила свою плетеную сумку и наспех побросала туда шарф, нож и два кусочка хлеба, оставшиеся от игры. Путешествие кончилось.

## СМЕРТЬ ПО-ЕВРЕЙСКИ

Шаркади двинулся вперед, точнее говоря, пополз, пробираясь через груды тряпья, бумаг, истертой в труху соломы и сплетенных клубком людских рук и ног, и, пока он ладонью нащупывал себе путь, непрерывно слышал стоны Дабаша:

— Мне плохо! Шаркади, подойди ко мне!

Сегодня выдался трудный день. С вечера сон никак не шел к Шаркади, а в полночь раздался сильный глухой взрыв — похоже, немцы взорвали какой-то мост или туннель. Шаркади пытался определить, где застрял их состав, и все время ломал голову, есть ли тут поблизости какая-нибудь река или гора. Что бы мог означать этот взрыв? Сну так и не удалось сморить его, а вдобавок ко всему на рассвете умер Поллак.

К умершему тоже позвали Шаркади. Присев на корточки, он смотрел на тщедушное тело. Поллак ничем не болел. Не сказать, чтобы он оголодал или ослаб более, чем сам Шаркади. И все же он умер. Или даже не умер: просто перестал существовать. Это и смертью не назовешь. Смерть — она другая. Когда умирает человек, то словно обрывается что-то. Всхрипывают напоследок легкие, останавливается сердце. В Поллаке ничто не оборвалось. Поллак и живой-то не жил, вот и смерть его не была смертью. Просто закрыл глаза и все... Словно в постепенно густеющих сумерках захлопываешь книгу. Так и Поллак не стал больше читать.

А теперь еще Дабаша... Шаркади полз вперед, пробираясь меж своих сотоварищей. У холодной печки свернувшийся калачиком вокруг заплечного мешка Поллак успел окоченеть, хотя умер всего несколько часов назад. Но в лютую стужу человек коченеет в два счета, в какой бы скукоженной позе ни застала его смерть. «Интересно, кто дневальный? — разозлился Шаркади. — Все-таки это свинство: неужели нельзя было вынести отсюда Поллака?» Когда он добрался до угла вагона и был почти рядом с Дабаша, его опять охватило раздражение.

— Кто у нас дневальный? — заорал он.

— Клейн, — ответил Дабаша.

Этот даже полумертвым ухитрялся фискалить. Впрочем, не был он мертв ни на половину, ни на четверть. Просто ему скучно тут вдвоем с Лацко, вот он и перемывает косточки Шаркади, поскольку тот командир вагона, но при этом к нему же взывает о помощи, едва почудится какая хворь, — в точности как на родине чуть что — привык звать домашнего врача. Шаркади год обучался медицине в Брюнне, и благодаря этому был произведен в ротные врачи.

— Что с тобой опять приключилось?

— Вот здесь колет. — Дабаша ткнул себе в грудь.

Под серой брезентовой курткой по свитеру, посеревшему от грязи, разгуливали вши. Шаркади оттянул нижнее веко пациента.

— Насколько могу судить, у тебя малокровие.

— Но от этого в груди не заколет, — ввернул Лацко.

Шаркади и ухом не повел. Он сел, прислонясь спиной к стенке вагона, и со всей серьезностью принялся растолковывать Дабаша, в чем причина его хвори. Ему самому доставляло удовольствие слушать собственные разглагольствования. Две точки человеческого организма особенно чувствительны к холоду, пояснил он, — глаза и легкие. При тридцати пяти градусах мороза и ниже можно смотреть только прищурясь, иначе глазные яблоки свободно могут замерзнуть. Дунет на них ледяным ветром — и конец. У человека резко усилится близорукость. Первую неделю он видит на расстоянии пятидесяти метров, затем — двадцати и так далее. В течение месяца наступает полная слепота. Так ослеп, в частности, и Амундсен.

— Впервые слышу, будто Амундсен ослеп, — снова вмешался Лацко.

Шаркади даже не взглянул в его сторону и, невозмутимо продолжая свою речь, пояснил, что и легким угрожает та же опасность. Он еще на передовой предупреждал всех и каждого, что рот необходимо закрывать шарфом; стоит сразу вдохнуть холодный воздух, и легкие отмерзают, оттого и чувствует человек покалывание в груди, вот как сейчас Дабаша. И это не первый случай. Легочная ткань — пори-



стая, как губка, поэтому она так легко и промерзает... Ну а весной размягчится, начнет разлагаться, а когда совсем сгниет, то выйдет из организма наружу. В Брюнне ему, Шаркади, не раз доводилось вскрывать трупы людей, которые отхаркали себе все легкие.

— Ты это серьезно? — Дабаша побледнел.

— Слушай его больше, дурак! — цыкнул на него Лацко. — Ему бы вечно шутки шутить. Знать бы только, с чего это у него такое веселое настроение.

— Зато отчего у тебя такое дурное настроение, я знаю, — язвительно парировал Дабаша.

До армии Лацко писал стихи; он гордился тем, что одно из его стихотворений как-то хотели напечатать в ведущем литературном журнале. Однако с еще большей гордостью он повторял, что в ту пору, когда еще не сгоняли в трудовые батальоны, он дослужился до лейтенанта запаса. Зная это, даже конвой делал Лацко поблажки, пока, конечно, существовал, потому как через полчаса после русского прорыва конвойных и след простыл.

— Тебя зло берет, что не ты стал командиром роты.

— Верно, Дабаша! Вот увидишь, из-за этого Лёвингера мы все до одного тут сдохнем. Какой из него командир! Лёвингер — дешевый бульварный писак, которому иногда удавалось тиснуть строк двадцать в газету, если театральные критики заболели.

— Тебе до него далеко, старина! — вмешался Шаркади. — Без Лёвингера нам всем давно бы крышка. Ведь это он раздобыл вагоны. Он раздобыл паровоз и маршрутный лист. И чтобы нас прицепили к эшелону, добился тоже Лёвингер...

Шаркади умолк. С эшелонном-то им как раз и не повезло. Правда, двое суток они почти безостановочно продвигались на запад, потому что в первых восьми вагонах были автопокрышки, и немцы на станциях пропускали эшелон без задержек. А потом их оттащили сюда, на какую-то сортировочную станцию близ Кривого Рога, и ночью безо всякого предупреждения отцепили паровоз. Лёвингер спал; наутро, когда они проснулись, их вагоны стояли против

разрушенной будки стрелочника, а на параллельной колее застрял немецкий санитарный эшелон с ранеными. Тридцать вагонов сплошных стенаний, криков и ругани. И нигде ни одного паровоза.

— Военное дело — наука серьезная. Где уж тут Лёвингеру разобраться! — зачастил Лацко. — Откуда ему знать, почему немцы не сдают Кривой Рог и до каких пор будут его удерживать? Да знает ли он, что мы, собственно говоря, уже наполовину окружены? И разве он тот человек, чтобы вести переговоры с немецким начальником станции?

— Да уж, не из всякого проходимца командир получится! — подлил масла в огонь Дабаша.

После Поллака не осталось никаких вещей. Из-за его единственного жилета, кишачего вшами, разгорелась ссора, но Шаркади прикрикнул на ссорящихся, велел отдать жилет Гросу, у того вечно зуб на зуб не попадал. «У меня ведь еще и малярия», — сказал Грос и радостно натянул жилет поверх синей бумажной кацавейки, украшенной крупными перламутровыми пуговицами. И тут снаружи послышался нетерпеливый возглас: «Открыть двери!»

Дверцы теплушки раздвинулись, открывая глазу вольный простор. Внутрь рванулась безжалостная февральская стужа. У вагона стоял Лёвингер. «У-у, жиды пархатые!» — завопил он. Шаркади вскочил и так же, как и остальные, отсалютовал по-военному. Всякий раз при виде Лёвингера ему становилось не по себе, а ведь это его идея: после наступления русских, когда все конвойные во главе со старшим лейтенантом Чернелем испарились, он предложил обрядить Лёвингера в немецкую форму и приставить к нему денщиком Йошку Света — тоже в соответствующем облачении. Самая подходящая кандидатура в ротные командиры — вот такая темная личность, не останавливающаяся ни перед чем; поэтому Лёвингер и был произведен в старшие лейтенанты.

Роль свою он играет ловко, ничего не скажешь. Похлопывает бамбуковой тросточкой по кожаным крагам и кричит: «Поллак здесь?» — «Здесь», — ответил из вагона Шаркади. «Тогда пусть выходит, да поживее». — «Не может он выйти, — сказал Шар-

кади. — Он умер». Лёвингер в сердцах хлестнул тросточкой по сапогу. «Нашел время умирать!.. Помоему, среди всей вашей жидовской братии больше нет ни одного слесаря». — «Зачем тебе слесарь?» — спросил Либнер. Лёвингер махнул рукой и зашагал к следующему вагону. «Мы нашли паровоз», — пояснил Йошка Свет и потрусил вслед за Лёвингером. «Паровоз?» — Либнер вопросительно взглянул на Шаркади, затем соскочил на насыпь и тоже припустился за Лёвингером.

Возвратясь в вагон, Либнер достал иголку и нитки и принялся латать рубашу. У Либнера было две рубашки. Прежде он работал на небольшом химическом заводике, и, наверное, дела его шли неплохо, если он сумел кое-что отложить на черный день. «Что за паровоз? Неповрежденный?» — поинтересовался Шаркади. «Ничего у них не добьешься. Строят из себя начальство, набили брюхо и знай орут: жида пархатые, жида вонючие... А чего орать, когда немцев нет поблизости! И жидов поминать на каждом слове к чему, спрашивается? — Он перекусил нитку и спрятал иглу, воткнув ее в шапку. — Если этот паровоз в сохранности, глядишь, и поедем домой, — тихо сказал он, глядя на занесенные снегом развалины железнодорожной будки. — Заведу себе двух собак, здоровенных, с тельца. Радиоприемник покупать не стану, на кой он мне сдался. Куплю домик на окраине Буда и за порог ни ногой. Две комнаты, кладовка, погреб, сарай полон дров; дрова там дешевые, по два пенге за центнер. Запасусь шоколадом и американскими орехами, окна-двери заколочу и наружу носа не высуну этак с годик-другой... Так бы вот жить и не знать, вторник сегодня или суббота, зима или лето. Разговаривать с собаками... Одну назову Калач, другую — Булка. Лежишь себе кум королю, захочется — откусишь шоколада дольку, потреплешь собак по загривку, забавно с ними... Спрашивается, чего еще человеку надо?» В этом был весь Либнер. Если он не занимался штопкой, то часами лежал погруженный в мечты и болтал, что бог на душу положит.

Шаркади слушал эту болтовню вполуха, все мысли его были прикованы к паровозу. С Лёвингера

станется, этот черта из-под земли добудет; он, Шаркади, правильно рассчитал, кому из них быть ротным... Высунувшись из двери, он крикнул так, чтобы его было слышно в соседнем вагоне:

— Йошка Свет! Лёвингер! Подите-ка сюда!

Первым взобрался в теплушку Свет, за ним — Лёвингер; задвинув дверь, он окрысился на Шаркади:

— Тут немецкие санитары взад-вперед шныряют, а он — «Лёвингер, Лёвингер»!

Он сделал Либнеру знак подвинуться и сел на его место. Тем временем вокруг «командира» собрались все, кто мог двигаться. Такое внимание было по душе Лёвингеру. Он обвел взглядом собравшихся — наступила тишина.

— Присмотрел я тут паровоз,— сказал он и умолк, ожидая эффекта. Но все в вагоне уже знали о паровозе, и желаемого эффекта не получилось. На Лёвингера, которого в соседнем вагоне встретили на ура, такой прием подействовал, как ушат холодной воды. Здесь проявил интерес лишь Шаркади. «Он что, целый — этот паровоз?» — «Да это же наш паровоз, — сказал Лёвингер. — В целости и сохранности. Стоит на этой же самой колее, примерно в километре отсюда, всеми брошенный». — «Котел холодный?» — «Холодный». — «Тогда что нам с ним делать?» — «Как раз об этом и речь. Кто тут разбирается в паровозах?»

В паровозах никто не разбирался. До войны Либнер изготовлял отраву для комаров, Лацко занимался поэзией и художественным переводом. Шаркади некоторое время изучал медицину в Брюнне, затем вернулся на родину и шесть лет корпел служащим на резиновом заводе. Дабаша-Дейч вообще ни в чем не разбирался, поскольку его отец владел двумя тысячами хольдов в Дабаше, придурковатый Клейн работал пекарем, а Поллак, который, будучи слесарем, пожалуй, и сообразил бы, как подступиться к паровозу, лежал застылый, точно каменная статуя... В вагоне находились двадцать два человека и покойник; ни один из них не умел развести пары в паровозе. Все молчали. Долгое время спустя молчание нарушил Грос. «У меня и так малярия», — осторожно

произнес он. Но эти слова не вызвали никакой реакции. Вот уже год они жили так, заключенные в тесные рамки кошмарного совместного существования, и за это время успели настолько изучить друг друга, что заранее знали, кто что скажет.

Дабаша приподнялся на локте. «Значит, паровоз у нас уже есть, — констатировал он. Каждый счел его слова отвратительной назойливостью: всякий раз, как дело касалось возвращения на родину, Дабаша вел себя так, словно у него на это было больше прав и оснований, чем у любого другого. — А как он здесь оказался?» — «Не знаю», — сказал Лёвингер. «Куда же девался машинист?» — «Не знаю, куда он девался. Сейчас речь о том, что надо разжечь топку и прицепить паровоз к нашим трем вагонам. Для этого, естественно, надо стронуть паровоз с места. Кто за это возьмется?»

— Есть тут какой-нибудь мост? — отозвался Шаркади.

— При чем тут мост?

— А при том, что ночью поблизости что-то взорвали.

— Именно мост?

— По-моему, да.

Лёвингер досадливо отмахнулся: потом, мол, разберемся. Сейчас главное запустить паровоз. Кто из них берется?

— Я берусь, — сказал Шаркади и ужаснулся собственным словам.

— Ты?

— Да, я.

— А ты в этом разбираешься?

— Думаю, что да. У меня сдан экзамен на шофера. Клейн, айда со мной, посмотрим, что там с этим паровозом.

Однако Клейн спал. Он спал больше всех в роте, потому что голод переносил тяжелее других и еду заменял сном. Дома Клейн работал в пекарне и каждое утро съедал двухкилограммовую буханку хлеба со здоровенным шматом копченого сала. Факт оставался фактом: когда его взяли в армию, он весил сто двадцать килограммов. По этой причине его без кон-

ца разыгрывали. К примеру, подговорили обратиться к старшему лейтенанту Чернелю и попросить себе двойной паек. Ведь даже в воинском уставе записано, внушали ему, если солдат весит больше центнера, ему положен двойной провиант.

Когда этот здоровенный увалень предстал перед старшим лейтенантом Чернелем и изложил ему свою просьбу — это был незабываемый момент! Чернель тогда впервые открыл для себя Клейна. Не медля ни секунды, он обрушил на беднягу шквал оплеух. «Колоссаль! Колоссаль!» — восклицал он при этом, поскольку на каждой щеке Клейна можно было уместить четыре лейтенантских ладони. С тех пор Чернель настолько втянулся в это занятие, что от постоянных затрепчин и голода у Клейна слегка помутился рассудок. Вот и сейчас прошла не одна минута, прежде чем он воспрял ото сна и уразумел, что им надлежит запустить паровоз.

Но Шаркади и Клейну не сразу удалось выйти из вагона, потому что путь им преградил Лацко: «Стойте, друзья мои! Смерть тому, кто притронется к паровозу!»

Пришлось задержаться, чтобы выслушать Лацко. По его мнению, немцы оставили эту железнодорожную станцию. Саперная часть откатила паровоз на свободный путь и соответствующим образом подготовила его к приходу русских. Наверное, достаточно ступить на подножку или зажечь топку, и в тот же момент паровоз взлетит на воздух. «Вы просто спятили, — твердил Лацко. — Только безумец или полный профан способен вообразить, будто немцы оставят русским целехонький паровоз». И он изложил все, чему их обучали на этот счет в офицерской школе.

Его выслушали. Лёвингер пожал плечами. Не все ли равно? В трех километрах отсюда находится река — Лёвингер не знал, как она называется, и на том берегу немцы наверняка закрепятся и остановят русских, так что хорошо бы туда проскочить. Но если не получится, тоже не беда. Ему лично и без того неплохо; пусть он — старший лейтенант, однако и в плену не пропадет. Ведь с чего начнут русские?

Построят их в шеренги. Спросят, кто тут буржуй, и тех — в сторонку. А он, Лёвингер, пролетарий, это каждая собака знает. «Я писал статьи в прогрессивную газету. Сказать обо мне, что я был коммунистом, это все равно, что ничего не сказать», — заявил он. Отодвинул дверь теплушки и прыгнул вниз. Однако к паровозу старался не приближаться.

— Не бойся ничего, — подбадривал Шаркади Клейна, пока они брели вдоль насыпи. Клейн недоумевающе уставился на него. Чего тут бояться? Он ни слова не понял из всех этих рассуждений насчет подрывных работ, да и не прислушивался к ним. Но Шаркади почувствовал, что сам он здорово трусит. Он осмотрел паровоз, обошел его со всех сторон. Тишина была бездонно-глубокой, а мороз немилосердно пробирал до костей. Паровоз недвижно стоял, вмерзнув в эту бескрайнюю стужу, как мамонт — в вечную мерзлоту. Клейн положил руку на поручень. Шаркади удержал его. «Погоди, — сказал он, — дай я пойду вперед!» У лесенки было пять ступенек. Пять спазмов в горле, пять толчков в сердце.

Шаркади не был трусом. С тех пор как ему пришлось оставить свой стол в бухгалтерии резинового завода, он с легкостью сносил капризы судьбы. Восемь месяцев провел на передовой, в проклятом бункере, полуживой от голода, холода и физических страданий, но у него хватало сил подшучивать над своими злоключениями. Сейчас, перед разверстым зевом топки, перед всей этой уймой кранов, рукояток и шкивов, ему впервые стало страшно. Он дернул книзу какой-то рычаг и тотчас отпустил его. Никакого результата. Манометр стоял на нуле, как и прежде. Лево́й рукой Шаркади крутнул какое-то колесо; пот с него лил градом, и он отказывался верить, что паровоз покорно сносит все его манипуляции... Клейн опустил на корточки перед топкой и вскинул взгляд на Шаркади. «Он работает на пару», — с задумчивым видом проговорил Клейн. Шаркади кивнул и положил руку на плечо Клейна.

Страх не отпустил его, но чувство одиночества стало рассеиваться. Паровоз по-прежнему оставался чужеродным механизмом. Нет ничего страшнее

машины, устройство которой нам не знакомо. Все сверкающие детали, какие только были у этого черного железного гиганта, все они враждебно уставились на него. «Работает на пару», — повторил он глупую фразу и потянул за какую-то свисающую цепочку. И вдруг его охватила радость. У него не было никаких подтверждений своей догадки, и все же он был уверен, что эта цепочка открывает клапан парового свистка. Он дернул цепочку снова и снова, мысленно вслушиваясь в горделивые и залиvistые трели свистка.

Клейн пытался развести огонь в топке; дрова занялись хорошо, но стоило ему подсыпать угля, и пламя непрестанно гасло. Четыре, шесть, восемь раз принимался он разжигать топку заново, пока наконец Шаркади не догадался насыпать угля на решетку и облить его бензином. Пламя запылало. По счастью, вода в трубах не успела еще остыть, от них ощутило тянуло теплом. Термометр показывал рост температуры. «Вот так жар! — радовался Клейн. — Хоть картошку пеки». Шаркади закрыл дверцу топки. Железо гудело, звенело, дребезжало. Шаркади повернул какой-то диск, и стрелка манометра дрогнула.

Теперь оставалось только ждать. Шаркади прижал ладони к прогревающемуся металлу. Клейн явно казался озабоченным. «А ты сумеешь сдвинуть его?» Шаркади пожал плечами. «Потому что я в этих делах ничего не смыслю». Будто он, Шаркади, смыслит! Но пока что так далеко он не загадывал. Для начала надо было дожидаться, пока образуется пар, и он долго и терпеливо ждал. «Наши идут», — сообщил Клейн, часто моргая, потому что его маленькие, мышинные глазки дым разъел докрасна. Шаркади облокотился на парапет. С того места, откуда рельсы шли по прямой, отчетливо различались фигуры бредущих по насыпи людей. Голосов издали не было слышно, и Шаркади по жестикуляции узнавал каждого из своих сотоварищей.

Всеми действиями распоряжался Лёвингер, свыкшийся с ролью командира. Судя по всему, он велел отцепить от состава два вагона: первый, который назывался у них «офицерским вагоном», где до



сих пор ехал Лёвингер с «денщиком», и второй, где находился Шаркади с товарищами. Третий Лёвингер, видимо, велел опорожнить и оставить вместе с восемью вагонами, набитыми автопокрышками. Конечно, если чуть потесниться, то рота и в двух вагонах поместится. Эти два вагона толкали перед собой человек десять — продвигаясь медленно, шаг за шагом и часто останавливаясь, чтобы передохнуть. Пройдет не меньше четверти часа, прежде чем вся рота доберется сюда.

Перегнувшись через парапет, Шаркади не сводил глаз со своих товарищей. Ишь как стараются, думал он. Надрываются из последних сил, точно крыса в клоаке, под напором сточных вод рвущаяся к свету. Это ли не дно жизни, ведь глубже падать некуда. Люди дошли до точки, у них осталась лишь единственная возможность — дышать. Отсюда до смерти — рукой подать. Потому они так и стараются. Потому и орет, подгоняя их, Лёвингер, потому и толкают они из последних сил эти два вагона. «Подбавь-ка еще угля, Клейн», — сказал Шаркади и отвернулся, чтобы не видеть своих товарищей.

Лучше не смотреть вперед. Там, за поворотом, где рельсы теряются меж заснеженных холмов, должна быть река и мост через реку. И люди, которые там, позади, толкают вагоны, все до единого считают, будто тот мост ведет на другой берег.

Паровоз всюду дымил; если смотреть издали, то можно было подумать, будто он готов отправиться в путь. Но в путь был готов лишь один человек на паровозе да скопившийся в трубах пар. Шаркади подошел к приборной доске и ухватился за рукоятку — одну из многих. Она была самой сверкающей: частые прикосновения человеческой руки отшлифовали ее. Шаркади потянул рукоятку на себя, рычаг закрипел, машина взревела, под локтем у него дернулся парапет. Почувствовав, что паровоз ожил, он рывком перевел рукоятку в прежнее положение и облегченно вздохнул. Ощувив толчок паровоза, Клейн вскинул голову: «Стронулся?» — «По-моему, да». — «И мы поедем домой?» Лопата громыкнула в его руках, распахнулась дверца топки, с колосников

дохнуло жаркой волной, густыми, темными клубами поднимался дым. «Смотри-ка, — высунувшись из окошка, сказал Клейн, — сейчас вся орава подоспеет!»

Уже можно было различить голос Лёвингера. Грос, облаченный в жилет Поллака, толкал вагон с таким же энтузиазмом, как и Либнер со своим заплечным мешком, битком набитым всякой всячиной. Все-все толкали вагоны, только Дабаша не принимал в этом участия. У него кололо в груди, или в пояснице, поэтому он никогда ничего не толкал, не тянул, не таскал. Шаркади развязал свой вещмешок и долго рылся в нем, пока не наскреб несколько таблеток аспирина.

— Ты сейчас сойдешь с паровоза, — медленно, раздельно внушал он Клейну. — Вот тебе аспирин. Отнесешь его Дабаша и скажешь, чтобы принимал по одной таблетке три раза в день.

— Но ведь они сейчас сами здесь будут, — сказал Клейн.

— Брось попусту рассуждать, дело срочное. Повтори, что ты ему скажешь.

— Чтобы принимал по одной таблетке три раза в день... А что стряслось? У него опять в груди колет?

— Да, — сказал Шаркади. — Поторопись.

Клейн зажал в пятерне аспирин, сполз по ступенькам и поплелся навстречу остальным. Шаркади смотрел ему вслед. Пускай уходит, бедняга. Пускай живет. Может, с годами удастся забыть пощечины.

Шаркади высунулся из окошка, глянул назад. Глаза его были сухими, когда он прощался с сотоварищами. Он еще успел увидеть, как Клейн протягивает Дабаша таблетки, а затем повернулся спиной, ухватил отполированную до блеска металлическую рукоятку и медленно потянул ее на себя. Паровоз тряхнуло, он качнулся и покатил. До Шаркади донесся голос, последний звук человеческого голоса — неистовый вопль Лёвингера, но и его тотчас заглушили резкое шипение пара, скрип осей, стук колес.

Затем паровоз вписался в кривую линию полотна, и поворот скрыл людей, вычеркнул их из памяти Шаркади. Он все тянул на себя рукоятку, давление

пара росло, перестук колес убыстрялся, паровоз летел все стремительнее... Он рванул цепочку: раз, другой, третий взревел гудок. По сторонам дороги проносились холмы, и у Шаркади вдруг возникло чувство, будто когда-то давным-давно ему уже снилось это. Нет, он видел себя не на черном паровозе, черной точкой бегущем по заснеженному полю: ему снилась лишь эта легкость, приподнятость, этот стремительный бег. Но сейчас был не сон. Сейчас он впервые почувствовал себя свободным. Шаркади отпустил рукоятку и лег грудью на парапет.

Край разгладился, распрямился, как раскрытая ладонь. Четыре березы стояли на берегу, за ними была река, противоположный берег, а дальше лес. Тихий, уютный лес, совсем такой, как тот, на родине, о котором мечтал Либнер. Лес, в котором можно бы жить, грызть шоколад и американские орешки и, играя, трепать по загривку двух дюжих овчарок. Не так уж он и далеко, тот лес... Паровоз взлетел на подъем, вверху которого стояла караульная будка — пустая, без караульных. Поодаль поникший железный каркас моста завис в пустоте, а за ним обломки двух рельсов парили в воздухе, над руслом реки. Посреди реки две черные вороны кружили над обнаженной опорой моста и ледяными торосами.

Но эта картина лишь на миг промелькнула перед концом: паровоз взлетел на несуществующий мост, завалился набок и камнем ушел в безмолвную смерть.

## **КОГДА ЖЕ НАСТАНЕТ КОНЕЦ ВОЙНЕ?**

*(Телефонный разговор утром 12 декабря 1969 года)*

— Алло, это писатель?

— Да.

— Я прочла сейчас в газете, что сегодня вечером по телевидению будут показывать вашу пьесу «Воронеж». И интервью ваше я тоже читала. Значит, вы и есть тот самый автор?

— Да, это я.

— Вы заявили, будто эту пьесу написали в лагере для военнопленных. Это правда или вы сказали, просто чтобы заинтересовать публику?

— Правда.

— Вы уж меня простите, что беспокою, ведь мы даже не знакомы. Мне хочется только назвать вам одно имя и выяснить, помните ли вы этого человека. Так могу я назвать?

— Пожалуйста, назовите.

— Петер Богнар.

— Петер Богнар?

— Да, это мой сын.

— Весьма сожалею, но это имя мне ничего не говорит. А где я мог встречаться с вашим сыном?

— В мае сорок второго года его взяли на фронт. Вы ведь были под Воронежем?

— Да. Был.

— Один фронтовой товарищ моего сына — теперь он инвалид войны — вернулся оттуда и привез мне записочку от Петера. Там было сказано: «Нахожусь в Костенках».

— Этот человек последний, кто видел вашего сына?

— Нет. Еще одну весточку я получила из Тамбовского лагеря для военнопленных.

— Я тоже там был.

— Как же так? Вы были в Тамбове и не помните Петера Богнара?

— Ведь нас, венгров, там было несколько тысяч. И что же сообщил оттуда ваш сын?

— В сорок третьем из Тамбовского лагеря вернулся один парень и привез длиннющий список пленных, которые там находятся.

— Но это невозможно!

— Как вас понять? Что значит «невозможно»?

— Простите, но должен вас огорчить. Наверное, вы просто спутали дату. В сорок третьем году никто не мог вернуться домой из Тамбова.

— Да я самолично разговаривала с этим парнем! Худющий такой, прямо кожа да кости. И он показал мне в списке имя моего сына.

— Тогда наверняка все так и было, только не в сорок третьем.

— Почему же не в сорок третьем?

— Потому что Тамбов находится на востоке, глубоко в советском тылу, и оттуда в разгар войны никто не мог вернуться домой. И в следующем году тоже, да и в сорок пятом, пожалуй, вряд ли.

— Ладно, оставим даты в покое. Как долго вы находились в Тамбове?

— Почти три года.

— И не помните Петера Богнара?

— наших там было очень много, и контингент то и дело менялся. К тому же у меня плохая память на имена. Но ведь то, что я его не помню, еще ничего не доказывает. Если уж ваш сын оказался в Тамбовском лагере, тогда он наверняка не мог пропасть.

— Мой сын? С чего вы взяли, будто он пропал?

— Я об этом ни словом не обмолвился. Как раз наоборот. Под Воронежем мы потеряли шестьдесят тысяч солдат, тысячи из них пропали без вести. И еще долгие недели после этого многие в полной неразберихе плутали за линией фронта. Но уж кто попадал в лагерь, например, в Тамбовский, тот оказывался в условиях вполне сносных. Там записывали все анкетные данные о человеке, ежедневно устраивали переключку, кормили и клали в лазарет каждого, кто заболел... Так что, если ваш сын был там, значит, он никак не мог пропасть без вести.

— И вы не помните его?

— К сожалению, нет. Но ведь с тех пор прошло столько лет...

— Мой сын был близким другом Ирме Шаллаи<sup>1</sup>. Это вам тоже ни о чем не говорит? Два года, пока Петера не угнали на фронт, он состоял в партии. Неужели и это ничего не подсказывает вашей памяти?

— К сожалению, нет.

— А ведь это приметы весьма характерные, как бы много вас там ни было.

— Ваша правда.

— И если бы среди вас находился такой человек, разве могли бы вы его забыть?

---

<sup>1</sup> Шаллаи Ирме (1897–1932), один из организаторов Коммунистической партии Венгрии. Казнен хортистами.

- Мне не хотелось бы вас огорчать...
- Но я хочу знать правду! Могли бы вы забыть друга Ирме Шаллаи — даже за двадцать семь лет?..
- Нет, наверное, не мог бы.
- Скажите откровенно: по-вашему, мой сын не был в Тамбове?
- Я этого не утверждаю.
- До этого вы сказали, будто тот парень вернулся не из Тамбова.
- Я сказал только, что он не мог оттуда вернуться в сорок третьем году.
- Двадцать семь лет я жду сына! Кроме него, у меня никого нет на свете, мужа я давно потеряла. И все-таки прошу вас, не щадите меня, я хочу знать правду, чистую правду. Если тот парень вернулся не из Тамбова, то как он мог передать мне весточку от сына?
- Затрудняюсь ответить.
- Постойте, мне пришла дельная мысль! А что, в России случайно не два Тамбова?
- Два города с одинаковым названием?
- А почему бы и нет? Один Тамбов — тот, где были вы, а другой — откуда пришла весть о моем сыне. Или это невозможно?
- Не исключено.
- Ну вот, наконец-то! Ведь я же и список сама читала, своими глазами видела, и парень худой был, прямо кожа да кости... Значит, он вернулся из того, другого Тамбова, иначе и быть не могло.
- Пожалуй, другого объяснения действительно не найти.
- Вот поэтому-то вы и не встретились с моим сыном.
- Да, наверное. Поэтому мы и не встретились.

## РАССКАЗЫ-МИНУТКИ

### ПРОЩАЙ, ПАРИЖ!

Чемодан у меня был тяжеленный, но все-таки я дотащил его до Рю де Эколь. Там я и остановил такси.

— К Восточному вокзалу, — сказал я шоферу.

У меня еще оставалось время до поезда. Хуже нет ждать на вокзале.

— Вот возвращаюсь на родину, — сказал я шоферу. — Не выпьете со мной на прощанье?

— Да у меня всего полжелудка осталось, — сказал шофер.

— Ну, стаканчик белого вина не повредит.

— Я знаю тут неподалеку одно местечко, — сказал шофер.

Мы чокнулись, опрокинули по стаканчику. Он, в свою очередь, заказал по второму. Пока мы ждали заказ, он поинтересовался:

— Далеко ехать?

— В Будапешт.

— Это что за страна?

— Венгрия.

— С немцами или против?

— С немцами.

— Вариант не из блестящих, — сказал он.

— Да уж что говорить, — сказал я.

Хозяин принес вино.

— Следовало бы посылать на войну министров, — сказал шофер после некоторого размышления.

— Вот именно, — сказал я. — Тогда бы они придумались.

Мы расплатились и тронулись в путь. Он поднес мой чемодан до подъезда Восточного вокзала. Затем протянул на прощание руку.

— Меня из-за желудка забраковали, — сказал он.

- Это большая удача, — сказал я.
- А у вас не нашли никакой болезни?
- Нет.
- Ничего, — утешил он. — Месяца за два мы разобьем немцев.
- Будем надеяться.
- Глядишь, еще доведется встретиться, — сказал он.
- Трудно поверить, — сказал я.
- И тогда еще опрокинем по стаканчику, — сказал он.
- Ну это уж непременно, — согласился я.
- До свидания, — сказал он.
- До свидания.

## IN MEMORIAM DR. K.H.G.<sup>1</sup>

- Hölderlin ist ihnen unbekannt? Вы знаете Гельдерлина? — поинтересовался профессор К. Х. Г., когда рыл яму, чтобы закопать дохлую лошадь.
- А кто это? — спросил немецкий охранник.
- Автор «Гипериона», — пояснил профессор К. Х. Г. Профессор очень любил просвещать людей. — Крупнейший представитель немецкого романтизма. Ну а Гейне?
- Кто они такие? — спросил охранник.
- Поэты, — ответил профессор К. Х. Г. — Но ведь имя Шиллера вам знакомо?
- Знакомо, как же, — огрызнулся охранник.
- А Рильке?
- И этого знаем, — побагровел охранник и застрелил профессора К. Х. Г.

## ПЕСНЯ

Сочинителя песен звали Енэ Янасом. Судьба свела нас после прорыва русских, потому что его батарею разбили, а я под Николаевкой потерял свою часть. Мы прошли вместе километров триста, изред-

---

<sup>1</sup> Памяти профессора К. Х. Г. (лат.).



ка подсаживаясь на попутный транспорт, а больше пешком, по снегу, по льду, всегда под огнем противника, пока наконец около Белгорода его не скосило короткой очередью.

До той поры я не представлял, как сочиняют песни. Кто бы мог подумать, что это такое простое дело! Из Янаса песни так и перли, лились, били струей, как родник из-под земли. Что бы он ни увидел, что бы ни услышал — все моментально становилось песней, со словами, рифмами, мелодией. Оставалось только придумать название.

В песню попал жестяной бидон с повидлом, который мы откопали из-под развалин разбитого склада. Встретился нам какой-то мост, который, можно сказать, прямо у нас под носом взорвали партизаны. А когда мы перебирались через реку под разрушенным мостом, по льдинам, Енэ Янас уже напевал:

Старый деревянный мост прогнул в воде.  
Господи, хоть ты бы мне помог в беде.  
Как же мне добраться к Аннушке моей,  
Переплыть стремнину с тысячью смертей?

Я все допытывался, как это у него получается. А он говорил, что и сам не знает. Я выпрашивал, сколько песен он сочинил. И этого он не знал. Может, три тысячи, а может, четыре...

Уже показался Белгород, когда начал падать снег. Я надвинул поглубже ушанку, но все равно слышал, как напевает Янас:

Покрывает землю белой пеленой,  
Слышу, мчатся сани, может быть, за мной.  
Кружись, кружись, снежинка...

Послышалось пять щелчков. Пришел конец Янасу, осталась неоконченной песня.

Иногда она приходит мне на память. Я пытаюсь ее продолжить. Ломаю голову, подбираю рифму к слову «снежинка». Но напрасно. Каждый из нас умеет делать что-нибудь такое, что после него не способен завершить никто другой. Так уж оно повелось.

## PERPETUUM MOBILE<sup>1</sup>

Аушпиц рассказывал, что прежде был подручным пекаря в булочной на улице Вереш Палнэ в центре Будапешта. По утрам, рассказывал он, за просто съедал килограммовый каравай хлеба. Весил он в ту пору девяносто два килограмма.

— Как думаете, сколько во мне теперь?

Этого мы сказать не могли. Факт, что Аушпиц уже не выходил по нужде, а это дурной признак, только пил воду, что признак еще более дурной. Знай пил и пил воду. Ему и пить-то не хотелось, а он все пил — как бездонная бочка.

Одежда его сплошь покрылась гнидами — тоже не к добру. Единственный способ удерживать вшей — поминутно давить их, иначе они расплодятся и усеют гнидами все одежные швы, особенно в тех местах, которые прилегают к теплому телу. Подмышки у Аушпица сделались совершенно серыми от гнид. Мы не стали ничего говорить ему. В таких случаях слова уже не помогают.

Однажды ночью я проснулся от того, что он беспрестанно ворочался.

Я спросил:

— Скажи, Аушпиц, что ты делаешь?

Он ответил:

— Ем.

Я спросил:

— Что же ты ешь, Аушпиц?

Он ответил:

— Я, видишь ли, поедаю гнид. И вшей тоже, знаешь ли.

Я зажег спичку, но тотчас же и задул ее. Фронт подступил уже совсем близко; даже курить по ночам запрещалось. Я успел всего лишь увидеть, что лицо у него спокойное, почти довольное.

— Не болтай ерунды, Аушпиц, — сказал я ему.

— Что же мне, ждать, покуда они высосут из меня всю кровь? — спросил он.

Надо продержаться максимум две недели, объяснил он. А если поедашь вшей, то эти две недели

---

<sup>1</sup> Вечный двигатель (лат.).

выдержишь играючи, поскольку ничто не пропадет впустую. Каждая капля крови, которую у тебя высосут, снова поступит в организм; то есть не станешь сильнее, но и не ослабеешь.

— Значит, ты изобрел перпетуум мобиле, — сказал я.

Он не знал, что это такое. То, что не требует затрат энергии, сказал я. Ему все равно было не понятно. И пока он поедал гнид, я объяснил ему принцип вечного двигателя. Потом мы уснули. Утром я попытался растолкать его, но жизнь уже угасла в нем.

## ИЗУЧАЙТЕ ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ!

Я не знаю немецкого языка.

Между Алексеевкой и Буденным надо было втащить на холм несколько орудий, которые по самые оси увязли в грязи. Когда в третий раз пришла моя очередь и примерно на середине подъема это чертовски тяжелое полевое орудие начало сползать обратно, я сделал вид, что хочу отлучиться по нужде, и удрал.

Мне известно было, где находится наша позиция. Я пересек огромное поле подсолнечника, затем выбрался на жнивье. Жирная черная земля налипала на подошвы, как свинцовые пластины на башмаках у водолаза, с помощью которых опускаются на дно моря. Шел я, должно быть, минут двадцать, как вдруг буквально наткнулся на сержанта-венгра и какого-то немца, даже не знаю, в каком чине, потому что я не разбирался в немецких знаках отличия. И надо же быть такому дьявольскому невезению, что я наткнулся на них на совершенно голом месте.

Сержант стоял, а немец, растопырив колени, сидел на складном стуле. Из тюбика вроде как для зубной пасты он выдавливал плавленый сыр на кусок хлеба. Сержант курил, а немец ел и только взглядом остановил меня.

— Was sucht er hier? — спросил он.

— Чего тебе здесь надо? — перевел сержант.

Я сказал, что потерял свою часть.

— Er hat sein Einheit verloren, — сказал сержант.

— Warum ohne Waffe?

— Где твоё оружие? — спросил сержант.

Я ответил, что я из трудбата.

— Jude, — сказал сержант.

Это даже я понял. Я пояснил, что я не еврей, а просто меня как распространителя «Непсавы» в Дере призвали в особый трудбат.

— Was? — спросил немец.

— Jude, — сказал сержант.

Немец встал. Отряхнул с мундира крошки.

— Ich werde ihn erschliessen, — сказал он.

— Сейчас господин фельдфебель расстреляет тебя, — перевел сержант.

Я почувствовал, как меня прошибает пот и к горлу подкатывает тошнота. Немец закрутил тубик с сыром и взялся за автомат. Говори я по-немецки, я, наверное, смог бы объяснить ему, что, раз не ношу желтой повязки, значит, я не еврей, и тогда все было бы по-другому.

— Er soll zehn Schritte weiter gehen.

— Отойди на десять шагов, — сказал сержант.

Я сделал десять шагов, по щиколотку увязая в грязи.

— Gut.

— Хорошо.

Я остановился. Фельдфебель направил на меня автомат. Я только помню, что у меня вдруг сделалась неимоверно тяжелая голова и все внутри оборвалось. Фельдфебель опустил автомат.

— Was ist sein letzter Wunsch? — спросил он.

— Говори своё последнее желание, — перевел сержант.

Я сказал, что хотел бы сходить по большому.

— Er will scheissen, — перевел сержант.

— Gut.

— Хорошо.

Пока я делал свои дела, фельдфебель держал автомат наперевес. Когда я поднялся, он снова нацелился.

— Fertig? — спросил он.

— Готово?

Я сказал: готово.

— Fertig, — доложил сержант.

Автомат фельдфебеля был нацелен мне куда-то в пупок. Минуты полторы, наверное, я стоял так. Затем, все еще продолжая в меня целиться, фельдфебель сказал:

— Er sollhupfen.

— Становись на карачки и прыгай! Прыгай! — перевел сержант.

За прыжками последовала команда ползти попластунски. Потом — пятнадцать раз упор лежа. Напоследок фельдфебель скомандовал «кругом».

Я исполнил.

— Stechschritt!

— Парадный шаг! — перевел сержант.

— Marsch! — сказал фельдфебель.

— Шагом марш! — перевел сержант.

Я зашагал. Просто идти и то можно было с трудом, а уж чеканить парадный шаг... Комья грязи так и летели выше головы. Я двигался ужасно медленно и все время чувствовал, как фельдфебель целит мне в спину. Я и сейчас могу показать то место, куда было направлено дуло автомата. Если бы не эта грязь, все мои страхи тянулись бы минут пять. А так прошло, наверное, полчаса, прежде чем я решился лечь на живот и оглянуться.

Я не знаю также и итальянского: к сожалению, у меня вообще нет способностей к языкам. В прошлом году, когда я летом отдыхал с группой наших туристов в Римини, однажды вечером у роскошной гостиницы «Регина палац» я увидел того фельдфебеля. Мне не повезло. Подойди я на полминуты раньше, я бы убил его, а так он даже не заметил меня. Вместе с многочисленными спутниками он сел в красный автобус со стеклянной крышей, в то время как я по причине незнания языков кричал по-венгерски:

— Остановитесь! Высадите эту фашистскую свинью!

Швейцар, темнокожий суданец, на полголовы выше меня, погрозил пальцем, чтобы я убирался прочь. Я даже ему не мог объяснить, в чем дело, хотя он, наверное, помимо итальянского, знал французский и английский. Я же, к сожалению, кроме венгерского, не говорю ни на каком другом языке.

## ШОФЕР

В девять утра поезд подошел к поврежденному зданию Восточного вокзала. Паровозный дым, проникнув меж обгорелых балок вокзального купола, вырвался на свободу, истаяв в сумеречном, покрытом копотью зимнем небе.

Я был наполовину человеком — наполовину все еще оставался пленным. Не решался оглянуться по сторонам и вздохнуть полной грудью, стоя на ступеньках главного входа в своих живописных лохмотьях, держа узелок, в котором я привез домой рукописи десятка рассказов, пьесы, социографического исследования и остатки своих пайков мыла, накопленные за несколько лет, приблизительно полтора килограмма мелко нарезанных столбиков мыла толщиной не более мизинца. Пока рукописи не найдут издателя, я рассчитывал с помощью этих обмылков начать новую жизнь.

Прохожие ощупывали меня взглядами, и многие, не удержавшись, оглядывались. А я стоял на ступеньках — этакий лапландский принц в изгнании — в облезлом, вытертом на локтях и сзади допотопном венгерском полушубке армейского образца, в итальянских горных ботинках и финской шапке-ушанке на заячьем меху, единственное уцелевшее ухо которой при ходьбе колотило меня по плечу. Моя одежда даже на фоне послевоенной бутафории выглядела слишком уж романтической; обыватели Пешта терялись, не зная, как ко мне отнестись.

Газетчик лишь издали помахал мне своими газетами, какая-то молоденькая девушка, поднимающаяся по лестнице с велосипедом, описала большой круг, чтобы обойти меня стороной. Таковы были первые минуты моего возвращения; на площади битком набитый сорок шестой трамвай дал звонок и тронулся. Я сошел с вокзальных ступенек, сел в частное такси, назвал шоферу адрес. И добавил, что денег у меня нет и что ему придется подождать у подъезда, пока я поднимусь к родственникам за деньгами; в залог я оставляю в машине свою котомку. Он кивнул.

— Сколько вы там пробыли? — спросил он.

— Четыре с половиной года.

— У вас что же, и семья есть? — поинтересовался шофер. Я сказал: есть.

— Ничего, — заметил он, — все равно можем немало поездить по городу.

На это я ответил, что предпочел бы поскорее увидеть семью, но шофер возразил, что у него пока еще нет таксометра, платить все одно придется за десять километров, так что уж лучше совершить небольшую экскурсию.

Я очень люблю шоферов. Есть в них некая трезвая объективность, присущая истинно великим артистическим натурам, в ком практическая жилка удачно сочетается с раскрепощенной фантазией. Десять — двенадцать часов в сутки водители проводят в тесном единении со сложным механическим агрегатом, но в них самих нет ничего механического, более того, они эмоциональны, а иногда и чувствительны, что тоже характерно для людей искусства. Профессия их связана с постоянным риском для жизни, с непрестанной готовностью к экспромту — ведь не известно, чего потребует следующий миг; эта готовность к импровизации — третья черта, роднящая их с артистическими натурами. Шоферы очень наблюдательны и лишены притворства, даже на досуге способны говорить только о своем ремесле — это их четвертое, пятое, шестое свойство. Ну и так далее.

На особенно разрушенных улицах он замедлял ход, в некоторых местах, как, например, у доходного дома на площади Кальвина, куда попала бомба, останавливался. Он не пускался в подробные объяснения.

— Вы только взгляните! — Он показал на закопченную капитальную стену, где каким-то чудом уцелели белые кафельные плитки и прилипшая к ним ванна.

Мы петляли по узким улочкам, попадались руины, которые он особенно близко принимал к сердцу.

— Что вы на это скажете? — вопрошал он и, в конце концов убедившись, что вид города произвел на меня должное впечатление, свернул к набережной Дуная и затормозил у Цепного моста.

Я выбрался из машины и подошел к парапету. Прощание с городом — четыре весны и пять ледо-

ходов тому назад — было связано именно с этим мостом. Он оставался для меня символом города, якорем моей тоски по родине, последней картиной. Когда в памяти моей возникал Будапешт — сотни тысяч раз на дню, — я всегда видел перед собой Цепной мост таким же, как тогда: в легкой дымке, пропитанной ароматом цветущих акаций, в гирляндах сияющих фонарей, весь будто сотканный из света... Позади тархтел невыключенный мотор, а я все стоял и стоял, наваясь грудью на парапет, над громоздящимися внизу льдинами, не в силах оторвать взгляд от безвольно поникшего Цепного моста, от рухнувшего в воду моста Эржебет, схожего с поверженным ангелом... С будайской стороны на Дунай пустыми глазами меж закопченных ресниц взирал сгоревший дом. Над куполом Королевского дворца, от которого сохранилось лишь беспорядочное переплетение металлических балок, стлалось темное облако, словно дым от головешек. Свидание было жестоким, как и положено быть после долгой разлуки. И тут ко мне подступил шофер.

— Наверное, и мама у вас жива? — деликатно поинтересовался он.

Я сказал, что да.

— Дозволено будет спросить, и сестры есть?

Я сказал: младшая сестра.

— Ну тогда поехали, — предложил он.

Мы сели в машину, и дорогой он принялся втолковывать мне, что это прекрасно — встретиться после долгой разлуки. Иной раз и не узнать человека, ведь пять лет — это вам не шутка; родственники обступят и ну разглядывать прищельца, а потом кто-то протолкнется поближе — глаза круглые, слова с языка нейдут, знай за сердце хватается... Бывает, конечно, что узнают с первого взгляда, но от одежды многое зависит... И спросил, нельзя ли ему подняться вместе со мной.

Зачем же, спросил я. Ведь сказано, что мой узелок останется в машине, а в нем много мыла, и ему нечего бояться, что я скроюсь, не заплатив. Да не потому, сказал шофер. Он и в мыслях не держал, что я сбегу от него. Я пойду вперед, а он не торопясь поднимется за мной и заодно узелок поднесет... Я спросил, к чему



это, узелок я и сам дотащу. Он заерзал на сиденье и с усмешкой в уголках узкого рта проговорил:

— Видите ли, уж больно охота послушать, как женщины станут кричать от радости, плакать да причитать.

Он и в самом деле поднялся вместе со мной и стоял позади в позе спасшего мне жизнь и упиваясь невообразимой суматохой. Я сильно подозреваю, что и на его долю перепало объятий и поцелуев, поскольку родственники решили, будто это мой брат по несчастью. Все ужасно волновались, не продрог ли я, и тут же влили в меня несколько рюмок коньяку. Ибо в подобных случаях обычно бросаются спасать человека от испытаний, выпавших на его долю за последние полчаса. От коньяка не отказался и он, чокнувшись со всеми родственниками все с той же кривой ухмылкой в уголке рта; потом его заставили съесть несколько штук орехового печенья, и он сказал, что очень, мол, вкусно, а когда дошел черед до оплаты, отказался от денег. Матери и сестре он на прощанье поцеловал руки; я впервые почувствовал, что я дома. Вернее, не то, чтобы почувствовал себя дома — это ощущение приходит лишь недели или месяцы спустя: я осознал, что это место, где я рано или поздно почувствую себя дома.

## ПАМЯТЬ О ВОЙНЕ

когда жизнь человеческая становится перенасыщенной, потому что ее по пятам преследует смерть, когда каждая минута твоей жизни может стать последней и потому время, отпущенное тебе, становится бесценным или же вовсе теряет цену, когда тебе отведено только утро, и это утро — вот оно, сиюминутное, а будет ли тебе дан еще полдень, или целый день, или вечер и завтра, или далекий послезавтрашний день, такими вопросами не задавайся, потому что на войне ты жаждешь пережить только текущую эту минуту, или пять минут, или ближайшие четверть часа,

когда, изнемогая от жажды, можешь хлебнуть глоток воды, а изголодавшись — набить брюхо, ког-

да протянешь к костру иззябшие руки или, измотанный вконец, прикорнешь на кукурузном поле и думаешь, на всем земном шаре нет тебя счастливее, когда в душе постоянно сталкиваются крайности: страх перед опасностью и пренебрежение ею, холодный расчетливый эгоизм и стремление поделить последнюю сигаретой, безжалостное равнодушие к попавшему в беду товарищу,

когда не существует вероятного и невероятного, ибо то и другое в равной мере возможно: вольготно разлижешься на безобидном пригорке и под ясным небом в перистых облаках мечтаешь о мирном крове, а через мгновение ты уже обращен в огонь и горстку пепла, и только последняя мысль твоя об отчем доме еще витает в воздухе,

когда единственный смысл и оправдание ее могут быть лишь в том, что из всех бесчисленных войн на земле она станет последней,

ибо нет человека, кто пережил бы ее,

ибо сеющий гибель сам обречен на погибель,

ибо раненый в ней, истекая кровью среди кукурузного поля, умрет безвестным и непогребенным, ибо не останется никого, кто бы собрал кукурузу, а останки его предал земле и сказал: «Мир праху его»,

ибо не только инвалид носит увечье до самой смерти, но и всякий другой, у кого целы руки-ноги, до конца дней своих носит ранящее душу и тело чувство вины перед теми, кто не дожил,

и не потому ли ты сам, получивший на этой войне всего лишь семь царапин от минных осколков, даже теперь, через десять, двадцать, тридцать лет после войны, вскакиваешь среди ночи, потому что кричал во сне: «Фери, дружище, что с тобой?!» — и долго лежишь в темноте с раскрытыми глазами и спрашиваешь себя, справедливо ли это, что я — жив и как ни в чем не бывало хожу по земле, тогда как имя твое и облик твой стираются в памяти, и думаешь: «А не лучше ли было бы мне пасть вместе с тобой и не таскать в себе груз твоей памяти, стать одним из тех безымянных, безвестных, чья плоть давно истлела, а кости схоронило какое-нибудь кукурузное поле».

## ПОСЛЕСЛОВИЕ

### На пути в «народ лагерей»

У каждой нации свой путь в «народ лагерей». В России этот путь описал Солженицын, в Венгрии — Эркенъ. Правда, предметом исследования для этих писателей послужили лагеря совершенно разного характера, и между системой сталинского ГУЛАГа и лагерями для военнопленных никоим образом нельзя ставить знак равенства. И если сюжет «Архипелага ГУЛАГ» прочувствован российским читателем на генетическом уровне и оттого понятен, то контекст исследования классика венгерской литературы требует определенных исторических знаний. Без них вряд ли можно ощутить масштабы трагедии, пережитой семьдесят лет назад Иштваном Эркенем и сотнями тысяч его соотечественников.

В советской историографии предвоенная Венгрия традиционно считалась реакционным фашистским государством, неизменным «сателлитом Третьего рейха» и «верной служанкой Гитлера». На самом же деле этот до сих пор сохраняющийся официальный советский стереотип свидетельствует об упрощенном подходе к реальности.

Венгрия в те годы была в некотором роде уникальным европейским государственным образованием — королевством без короля. На протяжении четверти века это королевство в качестве регента возглавлял адмирал Миклош Хорти, избранный верховным правителем страны после подавления Венгерской Советской республики 1919 года. Уподоблять его правление нацистскому режиму Гитлера и фашистскому — Муссолини не стоит. Хорти стремил-

ся не отождествлять интересы Венгрии с национал-социалистической революцией или с гитлеровским «новым порядком». Тем не менее в конце 1930-х годов регент пошел на сближение с Гитлером. Почему?

Прежде всего потому, что Венгрия, как и Германия, была «обижена» Трианонским договором, подписанным в Версале в 1920 году. По условиям соглашения Венгрия теряла 70% своей территории, треть венгров — 5 миллионов человек оказались за ее пределами. Страна тяжело переживала эти потери. В период между двумя мировыми войнами стремление к пересмотру условий соглашения было одной из главных целей венгерской внешней политики. Стараясь превратить Венгрию в своего союзника, гитлеровская Германия обеспечила ей значительные территориальные уступки, что и предопределило ее участие во Второй мировой войне. Вслед за падением фашистской Германии на Советский Союз войну нашей стране объявила и Венгрия.

К началу 1942 года Венгрия располагала 28 армейскими дивизиями. Ни одна из них не была готова к современной войне. Состояние стрелкового оружия было неудовлетворительным, а средства противотанковой защиты отсутствовали вовсе. Немногочисленные венгерские танки являлись устаревшими моделями итальянского «Ансальдо», вооруженными только пулеметами. Из 302 «боевых» самолетов оторваться от земли смогли всего 189. После долгих торгов с Гитлером Хорти в обмен на современное германское оружие и военную технику дал согласие на отправку на Восточный фронт десяти своих дивизий. Эти соединения образовали 2-ю венгерскую армию, командующим которой был назначен генерал-полковник Густав Яни.

Накануне отправки армии на советско-германский фронт Венгрию захлестнула волна воинствующего патриотизма. «Для нас наступило время действовать, — говорил ставший в одночасье национальным символом генерал Яни. — Когда война кончится, и мы вернемся с победой, Венгрия будет такой же, как во времена короля Матяша: страной трех морей — Черного, Средиземного и Адриатического».

Регент Хорти ловко использовал объявленную по стране мобилизацию для избавления Венгрии от «наименее устойчивых и преступных элементов». Армия, которую генерал Яни повел на Россию, в конечном итоге на 60 процентов состояла из резервистов. Среди призванных на Восточный фронт имущий класс крестьянства был представлен значительно меньше своего пропорционального числа в стране. Подавляющую массу рядовых составляли поденщики и слуги. Кроме того, среди солдат этой армии было значительное количество насильственно мобилизованных представителей национальных меньшинств — румын, словаков, закарпатских украинцев, евреев. Десятки тысяч евреев, которым не давали оружия, были объединены в так называемые трудбаты и использовались на самых тяжелых и опасных работах (в их числе находился и писатель Иштван Эркенъ). Коммунисты и другие сторонники левых убеждений также были брошены на передовую. И наконец, Хорти удалось «выдворить из страны» на фронт огромное количество уголовников.

28 июня ровно в 10 часов утра венгерские войска, вместе с немецкими, итальянскими и румынскими армиями, бодро двинулись к излучине Дона, где их ждало кровопролитнейшее сражение под Воронежем, грандиозная воронежская битва, финал которой по замыслу Гитлера обязан был решить судьбу войны.

Поначалу для генерала Яни все складывалось чудесным образом. Русские явно не ожидали столь мощного удара неприятельских войск с юга. 3 июля армия Яни, поддержанная немецким танковым корпусом, окружила крупные силы Красной армии у Старого Оскола и захватила около 40 тысяч пленных. Затем, развивая наступление, венгры достигли западного берега Дона и заняли линию фронта протяженностью 210 км от Воронежа до Павловска. Столь масштабного наступления венгерские войска еще не знали. «В то время, — вспоминал начальник штаба Воронежского фронта генерал-майор Михаил Казаков, — мы склонны были оценивать венгерские дивизии даже выше, чем немецкие. Ведь по опыту

Первой мировой войны мы знали, что мадьярская кавалерия являлась наиболее боеспособной частью объединенной австро-венгерской армии».

На занятых территориях некоторые соединения мадьяр демонстрировали изощренную жестокость. Это были отряды, в основном укомплектованные уголовниками, но именно по их поведению на воронежской земле до сих пор нередко судят обо всей венгерской армии. К примеру, в селе Урыв Коротоякского района головорезы из 13-й особой дивизии генерала-палача Йожефа Грашши силой загнали всех жителей в местную церковь. Кто пробовал бежать, расстреливали на месте. В итоге более трех тысяч человек оказались запертыми в храме. Теснота была такая, что все время приходилось стоять. Матери вынуждены были постоянно держать детей на руках, чтобы их не раздавили. Стояла июльская жара. Дети беспрерывно кричали, взрослые теряли сознание. Мучение продолжалось трое суток...

8 августа в результате блестящей контратаки 25-я гвардейская стрелковая дивизия полковника Павла Шафаренко отбила у венгров под Сторожевым плацдарм в 13 километров по фронту и 8 километров в глубину. Поражение на этом плацдарме имело небывалые последствия для венгров. Более двадцати гонведов были расстреляны командованием за то, что покинули поле боя, больше ста — арестованы и отправлены в наручниках в Будапешт. Сохранилось свидетельство, что лейтенант Йожеф Ватор собственноручно расстреливал в ходе боя отступавших солдат своей роты. Венгры неоднократно пытались вернуть Сторожевое, но все эти попытки были отражены советскими войсками. Плацдарм был сохранен и впоследствии сыграл важную роль в окончательном разгроме армии генерала Яни.

12 января 1943 года все та же советская 25-я гвардейская дивизия с этого плацдарма начала проводить обычную разведку боем. Поначалу ничто не предвещало сюрпризов, но вдруг события стали разворачиваться по совершенно неожиданному сценарию. Артиллеристы и минометчики советской дивизии «переусердствовали» с нанесением ударов

в районе рощи Ореховая до такой степени, что венгерские войска пустились в бегство. Батальон капитана М. Никифорова начал преследовать убегающего противника. Упускать такую возможность для атаки было нельзя. Комдив Шафаренко доложил обстановку в штаб армии, там проконсультировались со штабом фронта, откуда пришло разрешение на ввод в бой главных сил первого эшелона. Наступление поддержали еще две советские дивизии. Им фактически с ходу удалось продвинуться в глубину обороны венгров сразу на семь километров. Столь мощная атака стала полной неожиданностью для мадьярского командования. Связь между их дивизиями и полками была прервана. Офицеры бросали свои подразделения, а оставшиеся без начальников солдаты бежали куда глаза глядят или сдавались в плен.

13 января генерал Яни, получивший в эти дни известие о том, что Гитлер представил его к главной награде вермахта — Рыцарскому кресту, постарался остановить надвигающуюся катастрофу. Опираясь на наименее подверженные панике войска 3-го корпуса генерал-майора Марцела Штомма, он предпринял попытку контрнаступления в районе Довгалевки и хутора Веселый. Однако успеха венграм это не принесло. В течение трехдневного боя наступающие войска 40-й армии полностью разгромили три мадьярские дивизии (7-ю, 20-ю и 12-ю) и поддерживающую их 700-ю немецкую бронетанковую группу. Венгерская оборона была прорвана почти на 100 км по фронту и около 20 км в глубину. 15 января войска продолжавшего еще сражаться 3-го венгерского корпуса были полностью отрезаны от всех других частей 2-й армии.

А в это время генерал Яни все еще пытался организовать сопротивление. В ночь на 16 января он приказал своим войскам «держаться до последнего человека». Однако, не смотря на это, продолжалось паническое бегство и массовая сдача в плен. Так, например, поступили 2-я маршевая рота 23-го полка 20-й пехотной дивизии в составе 180 человек во главе с прапорщиком Косашем, 3-й взвод 1-й роты

14-го полка вместе с фельдфебелем Боя, 1-й взвод 7-й роты 22-го полка со своим командиром прапорщиком Лучко и целый ряд других подразделений. Перешли на сторону Красной армии два минометных взвода 47-го полка под командованием Габора Чомоша и Габора Баги. 18 января 1943 года двое военнопленных венгров, отправившись в свою часть, привели с собой 250 солдат. Под Острогужском младший сержант Хомяков из 340-й стрелковой дивизии Красной армии вместе с тремя солдатами сумел взять в плен 212 венгерских гонведов. Как свидетельствуют документы, уже к 19 января 27 500 офицеров и солдат венгерской армии были взяты в плен и направлены во временный лагерь в Давыдовке.

«Пленные доставляли нам немало хлопот, — вспоминал начальник штаба Воронежского фронта генерал Михаил Казаков. — Для препровождения их в лагерь требовались конвоиры. А войска ведь продолжали наступление, и в подразделениях был дорог каждый солдат. Некоторые командиры частей стали вооружать женщин-колхозниц, и те добросовестно препровождали непрошенных гостей по назначению. В других случаях пленным просто выдавалась сопроводительная записка с указанием лагеря, и они сами следовали туда. Доходили все до единого. Бежать было некуда. Фронт отодвигался все дальше и дальше на запад, а вокруг только заснеженная степь да лютая пурга...»

Пытаясь остановить массовую панику, охватившую венгерскую армию, офицеры начали расстреливать «каждого десятого» солдата. Начальник штаба 2-й венгерской армии генерал Дюла Ковач по телефону потребовал от командования 3-го корпуса «устроить резню похлеще!». Наконец, 24 января командующий армией генерал Яни издал приказ, который не имеет аналогов в венгерской военной истории. В нем поведение венгерской армии сравнивалось с поведением «сброда, опустившегося до скотского состояния». «Пусть каждый имеет в виду, я никого и ни под каким видом — будь то болезнь, ранение или обморожение, — не отпущу отсюда, — писал Яни. — Приказываю сосредоточиться всем



в районе объявленного сборного пункта, где будет проведено переформирование, и оставаться там до выздоровления или смерти. Приказываю самой твердой рукой установить порядок и железную дисциплину, неподчиняющихся расстреливать на месте. Я буду предъявлять самую высокую требовательность даже к обмороженным солдатам». «Следует иметь в виду, — говорилось далее в приказе венгерского командарма, — что на пищевое довольствие в первую очередь имеют право те, кто сражается на передовой, а те, кто оставил свой боевой пост и отсиживается на сборном пункте, в тылу, пусть будут довольны, если получают ровно столько, чтобы не подохнуть с голоду».

Свою роль в разгроме венгров под Воронежем сыграли и гитлеровские «союзники». Вот только несколько примеров предательства войск вермахта по отношению к мадьярским гонведам. Под селом Борщево немецкие заградительные отряды задерживали венгерских солдат из разбитых частей 9-й дивизии и гнали их на передовую. В деревне Ивановка при отступлении немецкая часть выгнала всех венгров на мороз и заняла избы и сараи. Когда в селе Верхнее Турово застряли немецкие машины, гитлеровцы отобрали лошадей из венгерского обоза, бросив сопровождающих его солдат на произвол судьбы. Командир корпусной группы вермахта генерал Фридрих Зиберт отводил свои части под живым прикрытием остатков венгерских войск. Последние использовались и на других участках фронта в качестве арьергарда при отступлении германских войск. В частности, остатки 1-й венгерской танковой дивизии прикрывали отход немецкого танкового корпуса.

«Немцы оттесняли венгров с хороших дорог, — писал впоследствии начальник венгерского Генштаба генерал Ференц Сомбатхейи, — не давали им места для расквартирования или вообще не впускали в населенные пункты. Средства передвижения, коней, теплые одеяла отнимали... Сбрасывали раненых венгров с автомашин». Жестокость порождает жестокость. Обреченные на смерть гонведы в оче-

редной раз решили спастись за счет воронежского крестьянства. К примеру, в колхозе имени Кирова Буденновского района отступающие мадьяры заставляли стариков тащить сани, нагруженные вещами и оружием, а некоторых впрягли в повозки, в которые уселись офицеры. Большинство колхозников не в силах были тащить тяжело нагруженные сани. Они падали от усталости, и за это их расстреливали. Так погибли 60-летний Григорий Моисеевич Пупынин и 62-летний Петр Андреевич Ногайцев.

28 января в районе Касторного генерал Штомм распустил свой 3-й корпус венгерской армии. Всем, оставшимся в живых к этому времени солдатам и офицерам, Штомм приказал самостоятельно выходить из окружения. Через день из штаба венгерской армии поступил аналогичный приказ — всем войсковым соединениям «мелкими группами пробираться на запад». Это был последний приказ штаба. 2-я армия перестала существовать.

Будапешт был в трауре. 2 марта 1943 года на заседании правительства министр обороны Вилмош Надь доложил, что в ходе зимнего наступления Красной армии уничтожено 75% вооружения бывшей 2-й армии стоимостью 367 млн пенгё. «Венгерское военное командование в настоящее время высказывается за то, чтобы больше не посылать на фронт ни солдат, ни снаряжения», — заявил глава ведомства. После этого с плохо скрываемой горечью Хорти написал Гитлеру: «Венгрия под Воронежем потеряла 80 тысяч солдат и офицеров убитыми и 63 тысячи ранеными». 31 299 венгерских солдат тогда попали в плен, составив часть того самого «народа лагерей». Среди них был и будущий писатель Иштван Эркенъ, признанный впоследствии классиком венгерской литературы.

*Дмитрий Дьяков*

## СОДЕРЖАНИЕ

Т. Воронкина. Плен — категория не пространства, а времени.....	5
---	---

### НАРОД ЛАГЕРЕЙ

Приказ командования корпусом .....	13
Плен как предмет исследования .....	15
Звезда над Загоном.....	17
Ференц Пора и шмат сала.....	43
Лодыри и работяги.....	63
Мелкие князьки и крупные коммерсанты.....	87
Лукавая мудрость дядюшки Лаци Чонтоша .....	108
«Король Котофей» в Киеве.....	131
Сердце бьется чаще .....	155

### ПРИЛОЖЕНИЕ

«Война была для меня самым значительным,  
судьбоносным событием жизни»

Письма .....	165
Отрывки из интервью .....	180
Давнее воспоминание .....	184
Рассказы	
Последний поезд.....	191
Детская игра.....	203
Смерть по-еврейски.....	218
Когда же настанет конец войне? (Телефонный разговор утром 12 декабря 1969 года) .....	230
Рассказы-минутки	
Прощай, Париж!.....	234
In memoriam Dr. K.H.G.....	235
Песня .....	235
Perpetuum mobile.....	237
Изучайте иностранные языки!.....	238
Шофер.....	241
Память о войне.....	244
Послесловие. Д. Дьяков. На пути в «народ лагерей» .....	246

**Иштван Эркень**  
**НАРОД ЛАГЕРЕЙ**

Редактор *Э. Артемьева-Скворцова*  
Художественный редактор *А. Балашова*  
Технический редактор *О. Стоскова*  
Корректор *М. Сергеева*  
Компьютерная верстка *Л. Гибирюлиной*

Подписано в печать 28.11.14 г.

Формат 84×108 <sup>1</sup>/<sub>32</sub>.

Заказ № 1501200.

Книжный Клуб Книговек.  
127206, Москва, Чуксин тупик, 9.  
[www.tetra.su](http://www.tetra.su)

**arvato**  
BERTELSMANN

Отпечатано в полном соответствии с качеством  
предоставленного электронного оригинал-макета  
в ОАО «Ярославский полиграфический комбинат»  
150049, Ярославль, ул. Свободы, 97



# ДВУДЛИКАЯ КЛИО: ВЕРСИИ И ФАКТЫ

«Плен — это большое и тягостное испытание. Экзамен на человечность, нравственность и жизнестойкость. Кто прошел его, тот научился верить в преобразующую силу страдания... Жестокий жребий, но ведь только на твёрдом камне шлифуется характер...»

И. Зркенъ

[www.terra.su](http://www.terra.su)

ISBN 978-5-4224-0947-1



9 785422 409471